

[Polaris]

АЛЕКСАНДР ИЗМАЙЛОВ



ПРИЗРАЧНЫЙ ЧАС

Избранные рассказы

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СССХСV



Salamandra P.V.V.

**Александр
ИЗМАЙЛОВ**

ПРИЗРАЧНЫЙ ЧАС

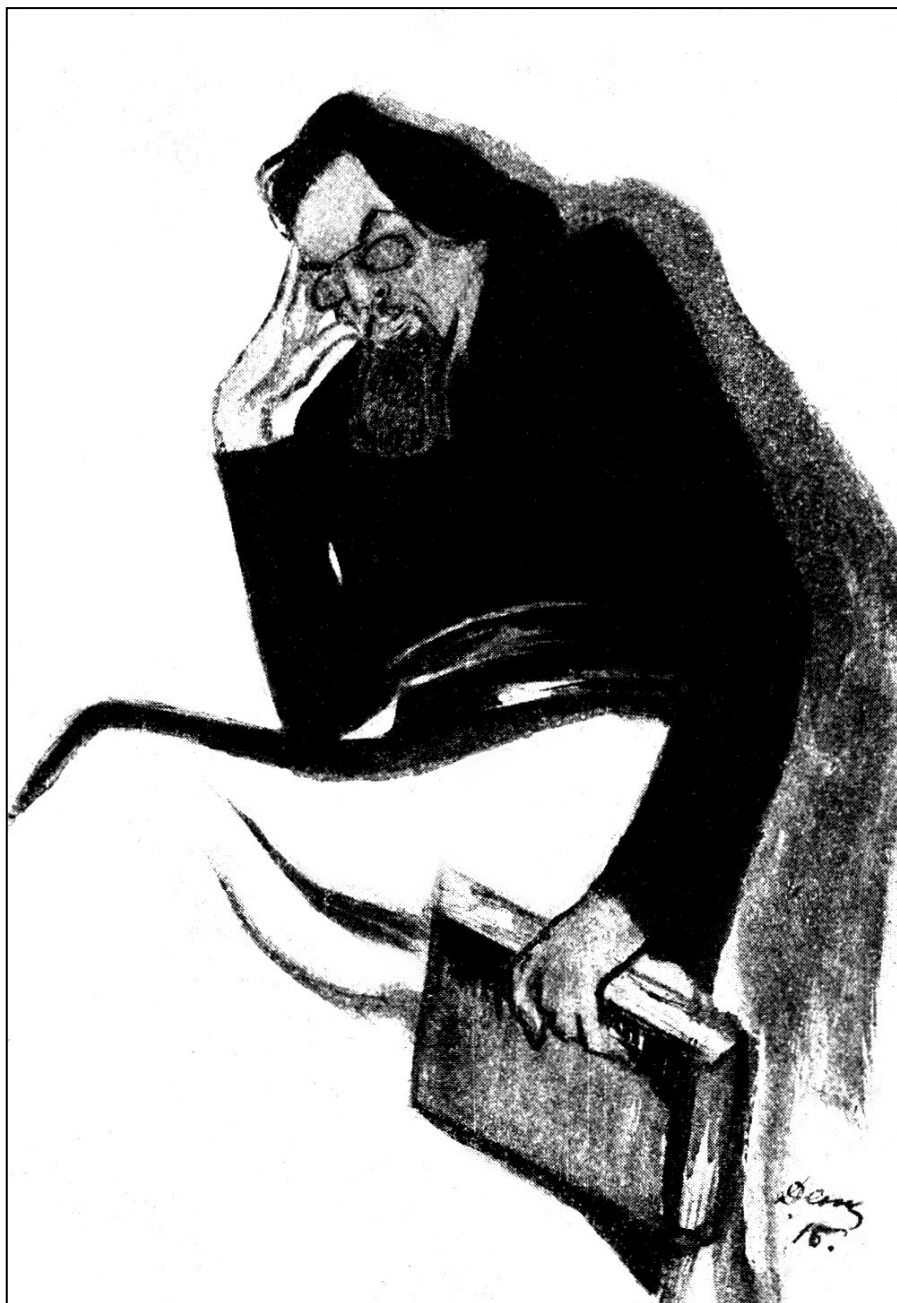
Избранные
рассказы

Salamandra P.V.V.

Измайлов А. А.

Призрачный час: Избранные рассказы. Сост. А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2021. — 200 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. СССХСV).

Литературный критик, поэт и писатель А. А. Измайлов (1873-1921) памятен сегодня в основном как автор двух сборников пародий: «Кривое зеркало» (1908) и «Осиновый кол» (1915). Куда менее он известен как прозаик и еще менее — как автор собранных в этой книге рассказов, относящихся к мистической фантастике.



ПРИЗРАЧНЫЙ ЧАС

ПРИЗРАЧНЫЙ ЧАС

(Петербургская фантазия)

I

Надо начать с того, что в те майские дни доцент Крематорский чувствовал себя явно переутомленным. В тот день, который завершила памятная для него ночь, он поставил точку под второй частью своего большого исследования о старом Петербурге. Психиатр, который вздумал бы разобраться в этой истории, должен учесть это обстоятельство, — доцент Крематорский был переутомлен.

Встречавшиеся с ним за последнее время находили его похуевшим и цвет лица его желтее обыкновенного. Зажигая папиросу, он чувствовал, что рука его дрожит мелкой жульнической дрожью. Поднявшись в свою мансарду на Галерной, он испытывал сердцебиение.

Спал он мало и дурно, и во сне мозг работал, как днем. Мерещилось, что он правит корректуры, вычеркивает и вписывает и перемещает страницы. Это не давало отдыха, и, просыпаясь, он не чувствовал себя свежее.

Были уже белые ночи, когда он всегда становился исключительно нервен. В тот вечер у него уже было предчувствие бессонницы. «Надо утомить себя перед сном», — сказал он себе и закрыл рукопись.

Часы показывали половину двенадцатого, когда он взял свою шляпу и трость, накинул черную альмавиву, с обычным сердцебиением спустился с высокой лестницы и направился на набережную.

II

Белая ночь залила город. Она как-то особенно чувство-

валась здесь, на набережной.

Были необыкновенно четки линии гранита, окаймившего Неву, громады Академии художеств на другой стороне и черной арки под Николаевским мостом. Нева казалась наполненной застывшей сталью. Не было нигде — ни в окнах домов, ни в фонарях, ни на пароходах — ни одного огонька. В экипажах изредка проезжали люди, шли редкие пешеходы. Большею частью это были гуляющие пары — мужчина и женщина.

Но и эти пары, и весь город были как нарисованные, — как старая дорогая гравюра из тех, что так много пересмотрел Крематорский за последний год. Его мысль скользнула снова на исследование. «Ну нет, об этом будет! — оставил он сам себя. — Надо о другом, иначе и сегодняшнюю ночь будут мерещиться главы и примечания, корректуры и планы».

Куда шел доцент, — он едва ли ответил бы сам. Вероятно, он просто хотел пройтись по набережной. Здесь было хорошо и покойно. От Невы шла легкая приятная свежесть. Было тепло, можно было идти без пальто. Только когда он нечаянно коснулся рукой здания Сената, — он почувствовал, что камень холоден и потен.

III

И хотя он только что дал себе слово не думать об этом, доцент вспомнил, что это именно то место, где некогда гулявший с князем Куракиным император Павел встретил призрак своего прадеда. «Бедный Павел, бедный князь!..» Все подробности рассказа крепко держались в памяти. Он вспомнил, как царю казалось, будто от стен здания идет холод. «Мне казалось, что ноги его, ступая по плитам тротуара, производили странный звук, как будто камень ударялся о камень...»

Император сам рассказал об этой встрече. Что это было? Жуткий фантазм больного мозга или одна из тех наме-

ренных мистификаций, какие были в природе загадочного несчастного государя?

Было так тихо, что доцент слышал ритмическое постукивание своих каблуков. Разбитые куранты крепости пропели разрозненное «Коль славен». Крепость была далеко, но воздух был так чист, прозрачен и спокоен, что, казалось, звуки прозвенели тут же, близко, только были они тихи и жалобны, точно бросали их летящие над головой слабые подстреленные птицы.

IV

Вероятно, эти звуки, отвлекшие внимание, были причиной, почему доцент не мог дать себе отчета в происшедшем в следующее мгновение. Вдруг и беспричинно им овладело смутное и почти беспокойное желание оглянуться.

Это было то самое чувство, которое иногда заставляет человека тревожно ждать, что вот сейчас запрыгает звонок, и кто-то уже ждет у дверей. И, действительно, звонок звонит, и немножко жутко идти к дверям и снимать крючок с петли...

Крематорский не слышал сзади себя ни шагов, ни дыхания, но вдруг всем существом своим почувствовал, что сзади его, — и совсем близко, — кто-то есть. Это было тем страннее, что там никого не могло быть. Он помнил, что никого не обгонял. Никто раньше не шел за ним.

Тогда он оглянулся и вздрогнул, попав глазами прямо в сухое пергаментное лицо невысокого сторбленного старика в старообразной, порыжевшей крылатке с капюшоном.

Все в старике было так необыкновенно, так не похоже на всех, что, раз встретив, его нельзя было забыть. И доцент вспомнил, что раз он уже видел его. Он встретил его на какой-то большой улице, в синем вечернем сумраке. Его внимание привлекла странная, точно из другого века, фигура на середине проспекта.

Что-то до такой степени старообразное, ветхое, мертвенное было в этом старике, до такой степени несогласимое с этими несущимися перед ним экипажами, что нельзя было не остановиться и не засмотреться.

V

Пергаментный старик стоял, уткнув палку в землю, точно окаменевший или застигнутый столбняком. Весь он был точно старый жухлый гриб на свежей поляне. Им можно было иллюстрировать романы Булгарина. Кучера кричали ему. Один рысак осадил прямо перед ним и объехал его, как объезжают тумбу.

Но старик все стоял и, не в силах преодолеть любопытства, Крематорский пошел через улицу, нарочно, чтобы пройти мимо него. На него взглянули тусклые, растерянные глаза. Старик что-то проскрипел. Доцент едва разобрал просьбу помочь перейти на другую сторону. Он взял его за руку и вздрогнул, — она была холодна, как рука мертвого. Может быть, старику не повиновались ноги? Может быть, у него была боязнь пространства?

Откуда он взялся теперь, — не из этой же холодной, серой стены Сената! Бесцветные глаза, как тогда, глядели на доцента, и трудно было понять их выражение. Может быть, это был нищий, и глаза просили копейки? Доцент не был богат, но у него было обыкновение разбрасывать нищим всю медь, какая скапливалась в кармане. Около церковной паперти он, без сомнения, уделил бы этой человеческой ветоши горсточку алтынов.

Но старость убила всякую выразительность лица старика. Крематорский решил подождать с благотворительностью. И это было хорошо. Ибо через минуту старик коснулся козырька своего картуза, и доцент услышал над своим ухом довольно твердый голос, каким говорит равный с равным:

— Прекрасная ночь!

VI

— Прекрасная ночь, — повторил молодой человек и, улыбаясь, повернулся к старику. — Но скажите, откуда вы... взялись?

— Стоял в углу, — старик кивнул головой на стену, — не изволили заметить. Стоял и смотрел. Великолепный город, милостивый государь! Сколь многие в нем живут, — старик выразительно поднял кверху палец, — и сколь немногие его чувствуют! Волшебная ночь, а они спят, как сурки, и не лучше ли было им жить где-нибудь в Кинешме?

Было странно, но он выражал мысли доцента, все настойчивее слагавшиеся в нем по мере того, как он все глубже и глубже уходил в красивый сумрак петербургской старины. В этом каменном, холодном, стройном городе, — мистическом городе серых туманов и белых ночей, — он чувствовал то обаяние, какое классик испытывает, когда его нога касается стертых плит священного Рима.

— Я заметил, — продолжал старик, — как вы слушали звон старых курантов. И я сказал себе, — этот человек понимает! Он вышел гулять в эту пору потому, что нет другого часа, когда Петербург так прекрасен. Посмотрите, весь город точно залит застывшим стеклом! Как тонки и ясны шпицы, — на них была бы видна приставшая соринка! Нет возможности наслаждаться этим молча, но... но, милостивый государь, может быть, я вам мешаю?

VII

Доцент отверг предположение и совершенно искренне. Он разделял энтузиазм этого ветхого старикашки, сохранившего такую молодую душу. А старик продолжал:

— Не кажется ли вам, что в этот час мертвеет все живое и оживает мертвое?' Может быть, сейчас Суворов сошел со

своего пьедестала у Мраморного дворца и тяжелым шагом ходит по Марсову полю, а ангел на Александровской колонне, с лицом Александра, расправляет усталые крылья. Посмотрите, — мне кажется, у медного Петра должна кружиться голова, так он высоко вознесся на скале, и так тих воздух. Или это у меня кружится голова? И не все ли так застыло и окаменело сейчас в этом белом городе, как этот всадник, который весь движение и, однако, весь неподвижен! Так призрачно все кругом, и уж, полно, живем ли мы с вами?

— Удивительно, — сказал доцент, чувствуя, что им овладевает странное волнение и болезненный, захватывающий интерес к случайному спутнику, — сейчас, перед вами, я думал эти самые мысли! Видите ли, я немножко заработался...

Старик медлительно вынул старинную дорожную табакерку с эмалью и методически поднес табак к носу. Он гулко щелкнул крышкой и, не предложив спутнику, спрятал ее в карман.

— Может быть, не показалось бы странным, — продолжал он с какою-то торжественной раздельностью, — если бы в такую белую ночь через Невский, по направлению к Таврическому дворцу, промчался Потемкин, а то так и сама «Великая» в громадной, золотой карете цугом. Не засиделся ли где-нибудь в таверне Ломоносов, и вон в том экипаже не едут ли четверо офицеров лейб-кампанцев в Красный кабачок скоротать остаток ночи? Не сам ли то граф Аракчеев спешит в свое Грузино, а там у окна Зимнего дворца остался в задумчивости Александр? Вы хотите сказать, что я путаю хронологию, но разве обязательна хронология для петербургской белой ночи, и, в конце концов, что такое Время?..

VIII

«Кто он»? — спрашивал себя Крематорский, еще и еще раз кося глаза на своего спутника. Уже, приспособляясь к

нему, он замедлил шаг и шел в ногу со стариком, семенившим мелкими неверными шагами.

Из-под старообразного картуза с длинным козырьком доценту были видны обтянувшийся тонкий нос, землистые бритые щеки с толстыми губами и уже иные глаза. Теперь в них светился усталый ум, может быть, талант. Доцент поймал себя на шальной мысли. Он точно подыскивал в своей памяти то историческое лицо, на которое бы походило это. Но мысль сверкнула и угасла. Это было просто стильное, старинное лицо знакомого типа, — лицо со старого портрета поры Боровиковского.

Кто он? — старый, отошедший в сторону профессор, антиквар-любитель, слепой крот, проводящий дни среди старых гравюр и обгрызенных мышами пожелтелых книжек? Но доцент знал всю профессуру и имел дело со всеми антиквариями.

— Вы говорите так, точно видели и лейб-кампанцев и саму «Великую»,— сказал доцент.— Сколько может быть вам лет?

— А что, если бы и видел? — точно поддразнивая, сказал тот. — Разве вся сегодняшняя ночь не сон? На Исаакия, на Адмиралтейство, на эту громаду (он кивнул головой на Зимний дворец) надо было бы посадить химер, — они так шли бы этому химеричному городу. Посмотрите вон туда, направо. Невский полон пешеходов, но почему вы думаете, что это все подлинные, живые люди? Может, половина их призраки. Спросите у них паспорта, — многие ли предъявят их? Вы думаете, что мертвым слаще всего их мертвый сон? Неужели им не хочется посмотреть милую, теплую, грешную землю, вмешаться снова в толпу живых в фантастическую ночь, когда их не заметят люди? И может быть, им дается эта таинственная власть над смертью в такие ночи. По крайней мере, откуда здесь взялись эти ветхие старики? Не странно ли видеть их здесь в этот час? А на некоторых из протитутков не замечаете ли вы старых мод прошлого века?

IX

Под причудливым, фантастическим подказом доцент взгляделся в встречных и, странно, шляпки некоторых женщин и каска офицера показались ему, в самом деле, чересчур старомодными. В случайно брошенной мысли была тень какой-то отдаленной возможности, при которой было интересно и страшно жить.

— Может быть, эти проститутки уже давно безгрешны, — продолжал старик, — а сердца этих блестящих офицеров давно источены червями. Снимите с них мундир, и оттуда посыплются серые ноздреватые кости и сухая желтая пыль. Но память духовна, и этих несчастных девушек влечет непреодолимое желание видеть те места, где тело их впитывало сладкий грех. Милостивый государь, допустите на минуту действительность царства мертвых, и неужели вы думаете, что мертвых не тянет туда, где они любили, творили, вкушали восторги, страдали, умирали в корчах, качались в петле веревки? Неужели Фальконету неинтересно посмотреть на медного гиганта посреди площади, или Монферрану на Исаакия?

Темная тень скользнула по лицу старика, и голос его стал печальным.

— Каждую ночь я выхожу на набережную и смотрю на Академию художеств, вот оттуда, где мы встретились. Без Минервы эта громада не закончена и похожа на казармы. Я вижу, что это не удалось. Однако, я смотрю на нее с тихим самоуслаждением. Никакой истинный художник не удовлетворен собственным созданием. Но смерть примиряет, и есть тихая услада думать, что ты создал нечто, что пережило не только тебя и твоих внуков, но переживет и еще десятки поколений...

— Кто вы? — вдруг выкрикнул доцент, чувствуя, как сердце его начало выколачивать мелкую трель, и легкая дрожь передалась ногам и сделала их слабыми.

Х

— Белою ночью Петербург хорош уже тем, что тут не нужно рекомендоваться, — уклончиво сказал старик. — Для чего вам знать мое имя или мне ваше? Разве мы стали бы больше уважать друг друга, если бы были представлены и обменялись карточками? И ведь имена умирают, как листья осенью. Кто-то построил академию, поставил колонны и умер, — и кому нужно его имя?

— Академию строил архитектор Кокоринов, — сказал доцент.

— Александр Филиппович Кокоринов, — медлительно, точно безучастно, подтвердил старик. Он произнес имя раздельно, четко, точно вызывая кого-то далекого и чужого. — Вы знаете, но, может быть, вы — один среди тысяч. И вы помните его дальнейшую судьбу?

— Не помню, — с несколько тоскливым чувством ответил доцент, потерев лоб под шляпой. — Не помню. Но какая-то необыкновенная смерть... А впрочем, забыл, не помню...

— Растрелли, Шувалов, Бецкий ласкали его, — проговорил спутник, точно вспоминая. — В такие же ночи он выходил на набережную Невы и с противоположной стороны, где стояли мелкие дома, смотрел на колонны. Тогда еще не было сфинксов. Может быть, в одну такую ночь он проклял это здание, ибо оно дало совсем не то, чего он ждал. И это мгновение было так остро, что от этого можно было повеситься...

ХІ

В тихо льющейся речи старика было точно какое обаяние над душой доцента. Он чувствовал ее размягченной, погруженной в старые воспоминания, тоскливо сжимающейся, точно под каким предчувствием.

Уже давно не он вел старика, а тот вел его по стеклянному, безвоздушному городу. Как мертвые, стояли дома набережной, дворец и Эрмитаж и бронзовый Суворов в доспехах Марса. Точно выточенный из стали, уходил в небо острый шпиг бывшего Михайловского замка. Это место ночью всегда навевало на доцента своеобразное настроение жути и тайны. Нельзя было оторвать глаз от этого шпица, от мелких окон под самой кровлей. Нельзя было оторвать мысли от стремления проникнуть внутрь, в один из таинственных покоев, где мерещились на стене шпаги штрафных офицеров и синий шарф, накиннутый на гвоздь, и пожелтевшие подушки...

А для старика все жило здесь иною, ушедшею жизнью. Он вспоминал о том, как строили замок, как ночью, при свете фонарей, стучали здесь топоры и зубило чеканило камень. Было трудно отделаться от навязчивой мысли, что он был всему этому свидетель. Доцент слушал его, и душа его пела, — какая странная встреча! Какая странная встреча!..

В пролет Садовой они вышли на Невский. Был дик и резок этот контраст жизни здесь и мертвенного покоя сейчас в стороне. По проспекту мчались экипажи, неслись автомобили... Белою ночью кипел здесь шумный и суетный день.

ХII

— И все-таки все это умрет! — с жуткой экспрессией и почти гневом сказал старик. — Инженерный замок превратится в груды кирпичей, которые из красных станут серыми. От Исаакия останутся одни руины, как от форума в Риме. В летнюю ночь луна будет серебрить уцелевшие колонны, поросшие сорной травой, и мелкие воры растащат золоченные листы провалившегося купола. В один день или в одну ночь Александровская колонна гулко рухнет на пустую площадь и расколется на куски. Туристы будут приезжать сюда, смотреть на то, что осталось от исторического горо-

да, как ныне ездят в Помпеи. Так преходит слава мирская!..

Мрачная, мертвая уверенность была в этих словах. Эта мысль была так нова и в то же время так логична и истинна в своей неожиданности, что она точно ударила Крематорского. Она была гениальна! Великий художник мог воплотить ее в бессмертной картине, но миллионы людей проходили мимо золотого колосса и не чувствовали ее...

Доцент весь ушел в эту мысль. Он точно видел темную громаду собора в развалинах, с одним острым боком, с покосившимся куполом, в который ударял лунный блик. Ворона чесала клюв на уголке уцелевшего фронтона... Почти мурашки пробежали по его спине... Он забыл, что он не один. Он уже не слышал голоса старика и не видел его...

Он очнулся, когда чье-то сдавленное дыхание, как дыхание хищного зверя, дохнуло со свистом и ревом в самые его уши, и кто-то дьявольски сильный толкнул его в плечо, бок и голову убийственным толчком.

Что-то сотрясло его мозг с такой силой и болью, что сознание мгновенно покинуло его, и Крематорский плашмя упал на камни, отшвырнутый в сторону, как швыряет рыбак рыбу из лодки на прибрежный песок...

ХІІІ

История доцента Крематорского, изувеченного автомобилем на Невском проспекте, не вызвала большого шума. Несчастный случай газеты отметили в хронике, но не сделали из него события.

Долго пролежал доцент в своей постели и за это время взглянул в лицо смерти.

О белых ночах уже не было и помина, когда глаза его снова открылись для сознательного восприятия жизни.

Боялись, что он потеряет то, что было самым дорогим в его профессии — память. Страдание было мозговое и, независимо от катастрофы, врачи находили нервную систему

его надломленной до последней степени. Но чудом уцелела память.

И странно, в ней сама собой, без напоминаний и справок, возникла одна подробность. Крематорский вспомнил, чем кончил Кокоринов. Старая легенда гласила, что вечные интриги к концу жизни привели Александра Филипповича в состояние черной меланхолии. В одну ночь он вышел на набережную посмотреть на творение своих рук. И здесь злое чувство творческого разочарования пронзило его насмерть. Он прошел на свой чердак, и наутро старого ректора академии вынули из петли...

О своей катастрофе доцент не мог дать никаких объяснений. Он ничего не помнил об этом, но с капризной ясностью в его уме осталось все то, что ей предшествовало.

Только все это было чудно и призрачно, как сон. И он никогда не мог бы сказать, была ли это подлинная, реальная встреча или больной кошмар нервной белой ночи, облекшей в реальный образ его собственную, уже заболевшую мысль...

ФЕНИКС

...Птица Феникс одногнездица есть, не имеет ни подружия своего, ни чад. И егда состарится, взлетит на высоту и взимает огня небесного, и зажигает гнездо свое и ту сама старает. Но и паки в пепеле гнезда своего нарождается,— той же нрав, тожде естество имать...

Матица Златая, о птице Фениксе.

I

Кто-то сказал:

— А вы слышали о возродившемся Калиостро?

И, так как некоторые не слышали, то говоривший продолжал:

— Сейчас об этом кричит весь Нью-Йорк, и газеты там полны этой новостью, как у нас скандалом в Думе. Почти трудно верить, что это тот холодный, практичный, чуждый мистики Нью-Йорк, какой мы знаем. Все это из-за того, что там появился человек, который называет себя знаменитым именем Калиостро. Как вы знаете, этот странный человек — или, если угодно, великолепный шарлатан, — уверял, что он жил в прошлых веках и будет жить в будущих. Он говорил, что при нем фараоны строили пирамиды, и будто бы он помнил праздники Нерона. Характерно, что новый Калиостро внешне похож на того, первого. На руке он показывает морщины, образующие латинское Д. Можно припомнить, что Калиостро уверял, будто это боровшийся с ним дьявол оставил на его руке инициал своего имени — **Diabolus**. Как у того Калиостро, у этого на левом плече большое родимое пятно в форме черепа. Родинки, господа, не поддаются подделке. Как тот, он выдает себя за целителя и чудо-

творца, и молва, действительно, уже приписывает ему кучу исцелений. Не в пример первому Калиостро, новый граф Феникс не берет ничего за свои чудеса, даже не останавливается в гостиницах и частных домах, но живет в палатке, в поле. Когда от него потребовали удостоверения его имени, он



предложил самой безупречной подлинности пергаментный свиток, скрепленный печатью и подписью Людовика XII-го и выданный Джузеппе Бальзамо, по прозвищу Калиостро. Тут же подтвердились и его «особые приметы». У нас бы его все-таки выслали куда-нибудь подальше, но там полицейская власть к нему безразлична, потому что он — «ничем не нарушает законов страны».

II

— Если здесь что-нибудь удивительно, — сказал хозяин дома, — то только место действия. Это неожиданно и необыкновенно для Америки. Наоборот, это было бы вполне в порядке вещей в Петербурге и Москве, Мюнхене или Женеве. У нас необыкновенно любят чудо и готовы принять любого сыщика за юрродивого, у немцев же еще посейчас

много шиллеровского идеализма, и я сам видел на их улицах людей, гуляющих в наряде Христа и проповедующих вегетарианство. Лично мне эта психология нового Калиостро кажется такой простой. Случайно среди хлама в лавке старого букиниста он находит какой-то документ позапрошлого века. У предприимчивого янки мелькает капризная мысль. Это ценный документ на любителя, но ценою его даже у господ любителей не сошьешь шубы. По темпераменту он — урожденный авантюрист, и ему предносится план красивой мистификации, которая может дать ему не только умственное развлечение, а и самое настоящее золото. Это ничего, господа, что он «не берет», — он будет брать. Умному шулеру всегда выгодно уступить первые партии. При нынешней хирургии, переделывающей курносые носы в греческие и подставляющей безногим стальные ноги, что за хитрость создать на руке искусственное скрещение морщин или родинку на плече? И потом, «родинка в виде черепа». Одно и то же облако может сразу казаться похожим на верблюда, хорька и кита. Кто видел родимое пятно того, старого Калиостро, и какая родинка не похожа на череп?

III

— Вы сводите случай к голой мистификации, — сказал заштатный профессор. — Вероятно, даже почти несомненно, это так и есть сейчас там, в Нью-Йорке. Но, знаете, этот вопрос о человеческих двойниках, — не о галлюцинациях, которые видят некоторые расстроившиеся субъекты, — а о подлинных, страшно похожих на вас людях, иногда с физическим сходством соединяющих и какое-то внутреннее, духовное сродство, — он не такой пустой, простой и безынтересный. Несколько лет назад, работая над сочинениями и биографией известного малоросса-философа Сковороды, я был удивлен одной странной частностью его жизни. Весь вообще он, как вы знаете, был какой-то странный. Ходил всю жизнь от помещика к помещику с одной свиткой, по-

сохом и Библией под мышкой, постоянного пристанища не заводил, денег не держал. Чуточку, кажется, подражал ему наш покойный Владимир Соловьев, ютившийся по друзьям или гостиницам, хотя, правда, и столь недурным, как «Hôtel d'Angleterre». Но и духовно Сковорода был страннее. Жил в области каких-то мистических предположений и подсказов, верил какому-то своему гению. Раз услышал в Киеве, на Подоле, словно бы трупный запах и заторопился сейчас же уйти из Киева. Ушел, а там через три дня открылась чума, которая так и пошла косить город...

— Но, позволь, — сказал его брат, старый чиновник в чинах, — при чем, собственно, тут двойник?

— Сейчас будет, — успокоил профессор. — Несмотря на тогдашнее отсутствие путей, Сковорода сумел побывать за границей. И вот раз, в Лозанне, он встретил странного человека по имени Даниил Мейнгард. Это был второй Сковорода, — совершенно похожий на него внешне и изумительно, до чудесности отразивший все его умственные стремления и нравственное мирозерцание. Сковорода был ошеломлен. Он сошелся с Мейнгардом до горячей дружбы, почти до братства. Какая-то мистическая догадка в нем осуществилась с этой поры и, с минуты возвращения, под всеми своими письмами он стал подписываться:

«Григорий вар (сын) Савва Сковорода, Даниил Мейнгард».

IV

— Если ты кончил, — сказал его брат, чиновник, — то я поделюсь странным фактом, имевшим отношение ко мне. В известную пору жизни, как мне кажется, большинство людей узнает странную новость, что у них есть двойник. Есть кто-то странно похожий на вас, иногда вносящий в вашу жизнь путаницу и чепуху. Несколько лет назад я заметил, что как-то особенно часто мои знакомые пеняют мне, что я не отвечаю на их поклоны. Почти всегда оказывалось,

что я не был там, где меня видели, но факт отстаивали так решительно, что становилось почти неловко.

Как-то раз я проходил мимо одного здания в Петербурге, на Невском, у ворот которого стоят двое часовых. Когда я поравнялся с ними, они сделали мне на караул. Я оглянулся. Никто военный не шел и не ехал. Улица и тротуар были пусты. Уже намеренно я через несколько минут вернулся и снова прошел мимо, — и снова мне отдали честь. Не было сомнения, что солдаты приветствовали именно меня. Но кто я был для них? Какой-нибудь управляющий зданием? Переодевшийся в статское полковник? Крупный агент сыскальной полиции? Все, что угодно, — только не я сам, — никогда не выдавший их и не имевший доступа в ворота, которые они оберегали.

С ясностью, не оставляющей места ни для какого сомнения, я почувствовал, что на свете и вот тут, в Петербурге, рядом со мною, живет и ходит по этим же улицам, мимо этих же солдат, мимо моих знакомых кто-то поразительно похожий на меня, — мой двойник. Через день мне пришлось снова проходить здесь с знакомой дамой. За несколько шагов до ворот я сказал ей: «Сейчас часовые отдадут мне честь. Заметьте, — военных никого нет».

Она засмеялась моей «шутке», но, когда два ружья в заученном движении звучно лязгнули в солдатских руках о ременные пряжки, она посмотрела на меня с серьезным недоумением.

Мне бы следовало узнать, увидеть мой двойник. Любой на моем месте сделал бы это. Любопытно, как бы я, — я сам, — почувствовал это сходство. Прежде всего, показалось ли бы оно мне поразительным? А дальше, что, если в таких случаях человек чувствует глубокое отвращение, увидя в другом то, с чем он примирился в себе? Но, верите ли, у меня не хватило духу. Конечно, тут не было и тени мистического страха. Я боялся просто какого-нибудь ошеломляющего пассажа, какой-нибудь гнусной новости. В самом деле, мой «другой я» мог оказаться кем угодно, вплоть до официального Шерлока. Я просто стал намеренно предпочитать другую сторону улицы. Потом мне пришлось надолго

уехать из Петербурга. Теперь мне никто не отдает там чести. И до сих пор я не узнал, в чем было дело...

V

— Прошу слова и я, — сказал хранивший молчание старый господин, знакомый большинству под именем помещика из Сибири. — В моей жизни мне раз пришлось наткнуться на более яркую странность. Да, это большая редкость — человеческое сходство до деталей. Природа любит разнообразие, и на двух огромных деревьях не найти двух совершенно одинаковых листьев. Можно перебить горы стекла и не подыскать двух совершенно совпадающих осколков. Вот подите же, — а в мире человеческих единиц это возможно. Но то, что вы говорите, все-таки не идет дальше простого физического сходства. Две сходные матери на разных концах города или государства, в силу каких-то равных условий, однородности мужей, сходства физического сложения и т. д. производят на свет сыновей — почти близнецов. В конце концов, это просто, как физический закон. Но что вы скажете о передаче одному человеку черт и особенностей другого — из другого поколения, чуть ли не из другого столетия?

— Вам это довелось видеть?

— Да, и если вам не наскучит, расскажу, как. Только надо начать немножко издалека — то есть, так-таки почти с впечатлений детства.

— Просим, — сказали мы.

VI

— От моего деда мне по наследству перешли записки. Старику было нечего делать, он был богатый помещик и, сидя в своем старом доме на Петербургской, день за днем

записывал в толстую конторскую книгу, которая вместе была и расходной, все, чему свидетель в жизни был. Много пустяков, мелочей, потерявших смысл и интерес, но кой-где любопытные блески. Чудно, например, читать, что было время, когда чудесная паюсная икра в Питере стоила 40 коп. фунт. Но это между прочим. К делу относятся только пометки деда о посещениях его странным человеком, неким Данилой Матвеевичем!

Это был по роду занятий художник, а по роли, какая ему выпадает на всем протяжении дневника, — что-то вроде не то фамильного доктора, не то астролога, какие жили в старину при дворах феодалов. Совершенно маловероятный для России тип.

Само знакомство с ним началось с того, что он пришел к деду незваный и предупредил его не ездить в известный день в банк. Дед послушался и послал кого-то вместо себя. Дорогой лошади понесли и расшибли бричку и этого посланного едва ли не насмерть.

С этого времени дед почувствовал к Даниле Матвеевичу что-то вроде благодарности, смешанной с каким-то суеверным чувством. Данила Матвеевич недурно ловил портретное сходство и, чтобы дать ему заработок, — ибо он был горд и никогда не пошел бы на положение приживала, — ему поручили писать чуть не всю семейную галерею. Для церкви он писал картины, — икон не писал, вроде как бы из принципа.

Сохранилось в памяти, что, по манере старых мастеров, любил он зарисовывать на этих картинах иногда живых людей. Но не только об людях этих забыли, но и картин, им написанных, я не видел. Кроме, впрочем, одной. О ней речь впереди.

VII

Еще было достоинство у Данилы Матвеевича — он умел «пользовать». Что-то он клал на зубы, давал настой про-

тив ревматизма, сбившихся со сна угощал какими-то порошками, от которых человек впадал в сонный запой или, как он выражался, — в сквозняк, т. е. мог проспать аккуратным манером сутки, от полдня до следующего полдня.

Деда моего он как-то счастливо и с места излечил от страшных головных болей, посоветовавши ему открыть на руке фонтанель, — тогда это входило в моду. Дед послушался, и его боли точно рукой сняло.

На чем Данила Матвейч был помешан, — это на чесноке. Всегда у него с собой в кармане было несколько его головок, и он их раздавал направо и налево, выдавая чуть не за панацею. Как-то он применял сюда сказание Библии про фараона, который запретил евреям есть чеснок, — «это-де наш египетский бог». На самом деле, фараон-де просто хотел обессилить нацию, ибо чеснок укрепляет память, усиливает энергию и т. д.

Теперь мы знаем, что в чесноке много мышьяку, и в этом весь секрет его полезности. Тогда, конечно, в этом не отдавали отчета, и все этому много дивились, а чеснок чудного старикашки считали наговоренным.

VIII

Все это я узнал потом из рассказов отца, который в детстве еще знал Данилу Матвейча, хотя фамилии его уже не запомнил. В записях деда о нем говорилось все отрывочное и все чудное:

«...Заходил пить чай Данила Матвейч. Нес что-то про кометы непонятное...

...Отличился Данила Матвейч. Сбесившуюся собаку “Бонапарта”, что двоих искусала, сгреб в охапку и затопил в пруду. Пес был, яко бес, а он его взял, как котенка...

...Написал Данила Матвейч в притвор церковный ангела, который во все стороны глядит, смотря где станешь. Влево — он налево глаза скосил. Вправо — и он вправо. И фасом смотрит прямо на смотрящего...

...Данила Матвейч на три дня уходил в лес, — там и спал. Говорит: “Ввергнул дьявола в преисподнюю”.

...В прошлый четверг, сидя у меня, Данила Матвейч сказывал, что видел во сне, будто в створку царских врат проросла плакун-трава, а свечи перед иконами тянут дымом. Вчера же, 23-го мая, старая церковь волею Божьею сгорела...»

И так далее, все в таком роде. Всего не вспомню. Но все было такое «странное». Данила Матвейч не ел ни рыбы, ни мяса. Иногда возьмет да целый день молчит. Всегда уходил неожиданно, точно пропадал, и приходил снова, не предвзя и ничего не рассказывая. Порой дня на два определял себя на диету и не ел совсем ничего, только отпивался холодной водой. Предпочитал он быть в людской, но спать мог только в одиночестве, и ему отводилась тихая наверху светелка, где на столе у него лежала всегда раскрытая толстая славянская Библия и громоздкая записная книжица, наполовину уже занятая какими-то его выписками.

Тут же он раскладывал свои краски и самодельный мольберт и, если было дело, писал. Однажды написал себя, но и тут изрядно соригинальничал: портрет, где он был изображен почти в профиль (писал он, конечно, при помощи зеркала), он потом положил лежа и под головою подрисовал подушку с кистями, а руки скрестил, как у покойника.

Так он видел при жизни, каким будет лежать в гробу, мертвый и с заострившимся носом. Очевидно, это настраивало его философски. Картина долго висела в его светелке, а потом куда-то исчезла. Мой отец ее только помнил. Я ее уже не видел.

По счастью, я видел другое запечатление телесной оболочки Данилы Матвейча. Это мне потом должно было пригодиться, в том случае, какого я никак не мог предвидеть...

IX

Раз отец остановил мое внимание на старой, довольно

большой картине в нашем церковном притворе. Это было изгнание торжников из храма. Работа была старинная, манерная, так сказать, ложноклассическая. В фигуре Христа, взмахнувшего бичом, помню, я не почувствовал ни яркости, ни силы. Старый академический шаблон.



Гораздо характернее мне показалась голова одного изгоняемого. В то время, как у всех лица были сделаны по обычному живописному трафарету изумления и страха, это было спокойно, точно попало сюда с другой картины. Может быть, потому, что оно одно было здесь совершенно закончено, может быть, потому, что в нем сразу ясно чувствовалось портретное с кем-то сходство, — это лицо, выдвинутое прямо под Христов бич, господствовало надо всем в этой темной и закоптелой картине. К нему тянуло. Это был явно живой человек среди фантазий.

Что первое било в глаза, — это капризные, высоко взлетевшие брови и глаза такие, каких не увидишь на церковных картинах ни у одного святого, ни у одного мытаря. Это

был явно живой человек среди фантазий. Голова была гладко обстрижена, и ясно выдвигались капризные лобные выпуклости, которые почти безобразили бы это лицо, если бы оно не было старческим. Седые усы росли тонко и скудно, и сводящееся резко на конус лицо переходило в узкую, худенькую бородку, какую принято называть святительской. Точно застывшая улыбка змеилась у края губы, и какое-то внимательное, острое, не по-старчески чуткое выражение глаз сходилась с этой улыбкой.

Весь он со своим кантовским лбом, взмахнувшими по нему бровями и острым овалом лица шел бы в оригинал хорошему актеру, собирающемуся играть лукавого советника при дворе Людовигов. Мне вспоминается какой-то портрет Самойлова в таком роде.

На старике было какое-то темное одеяние, похожее на тот длинный сюртук, что сохранился до сих пор на старых еврейх черты оседлости. Впрочем, это все уже уходило в общую тень, тонуло в черном фоне.

Я тогда же узнал, что это — работа Данилы Матвеевича, а этот старик — его автопортрет. Долго стоял я в задумчивости перед этой картиной. Этого ведь и хотел он, странный самоучка, сохранившийся в памяти людской в отсвете почти легенды!

Но какая характерная голова! Но какая мысль, — подставить свое лицо под удар Христовой плети на позорище людям в роды родов!..

Х

Бывают в жизни мимолетные встречи и случайные впечатления, какие не забываются.

Так я не мог бы уже забыть Данилу Матвеевича. О нем часто вспоминали в семье, а после этой картины он стал для меня живым лицом. Всякий раз, когда я проходил притвором, он смотрел на меня, единственно мне интересный и по смерти отца единственно мне известный. Все остальное,

конечно, о нем забыло.

Отец, заставший его в детстве, внес в мое представление о нем немногие черты, но все в том же стиле. При нем Данила Матвеевич был уже стар, почти дряхл. Заходил он все реже и реже. Писал редко и не иначе, как при помощи очков с толстейшими стеклами. Был весь сед, но брови сохранил до смерти черные, точно крашенные. Его уважали и почти боялись.

Раз он выстрелил из ружья в ствол ивы над рекой, и ива в тот же год засохла.

В последние годы установилась в доме странная примета: старик приходил непременно после чьей-нибудь смерти. Если бы было наоборот, и он своим появлением предвещал бы смерть, — это было бы жутко.

Точно вызванный телеграммой, он пришел в усадьбу, когда дед лежал на столе, приоткрыл ему веко, послал монахиню на кухню пить кофе и сам, став на ее место, почитал часа два псалмы по её псалтырю.

Умерших он вспоминал умиленно, но ни по ком не плакал. Долго уже в гостях не засиживался, — все куда-то спешил. Раз по весне от какой-то странницы узнали, что Данила Матвеевич помер. Где и как, — никто не помнил.

Уже взрослым, уже давно схоронив отца, я как-то пересекал Россию почти по диагонали. Устал. Захотелось вылезть из вагона, вытянуться, выспаться на чистом белье и на покойной постели не под грохот колес и без толчков через каждую минуту.

В одном небольшом промежуточном городке у меня был знакомый. Я решил, — попутно осмотрую городок.

Наши русские города умеют хвастать либо историческими рукоюниками какого-нибудь Мстиславича, либо подвалами, где кого-нибудь томили, душили или казнили. И здесь я насмотрелся этого вволю и, признаюсь, был сыт.

Великих людей не было. У заштатного секретаря консистории был «музей самоубийц», — комната, где он за много лет сохранил все орудия и средства самоубийц, дела которых рассматривал. Дьячок на Горбушке стравливал петухов. На окраине жил мещанин, поднимавший корову и

гнувший подковы. Все это было не в моем вкусе.

— Вот что, — вспомнил мой знакомый. — Не посмотреть ли тебе Куцыбу?

— Кто же он такой и чем, кроме своей фамилии, замечателен?

— А это, — говорит, — любопытный образчик человеческой породы. Наум Куцыба. Это антик. В старые годы он, говорят, с екатеринбургскими купцами драгоценными камнями торговал. Теперь у него так, что-то вроде не то часовой мастерской, не то ювелирной, но, конечно, на провинциальный манер. У нас ведь запросто, где керосин продают, там и гроб сделают. Камешек через него можно купить, часы починить может. Но суть не в этом, а в том, что он... странный.

— «Хиромант с дозволения начальства?»... Извини, это неинтересно.

— Нет, — говорит, — не в том дело. Он, действительно, пророчит, но на руку не смотрит и за свои пророчества не берет ни копейки... Раз пришел ночью с подушкой и одеялом к соседу, — «крысы, — говорит, — спать мешают», а в эту ночь его домишко расселся и сполз в реку. Еще он лечит больных каким-то травным бальзамом или велит человеку два дня ничего не есть, одну воду пить, — и, представь, — это факт, что помогает. Чудно, но в некоторые дома он приходит после долгого антракта как раз тогда, когда там на столе покойник. Это замечено.

Это переполнило чашу моего любопытства. Заинтересованный, я просил поскорее показать мне Куцыбу.

XII

— Вы угадываете, господа, что вечером я увидел не Куцыбу, а... Данилу Матвейча.

Нельзя угадать только степени моего изумления, когда я увидел это сходство часовщика с тем, изгоняемым из храма.

Правда, я уже слишком десять лет не видел этой картины. Но — знаете, впечатления детства, они врезаются точно и навеки, как первая азбука, как лицо няньки...

Когда я увидел Куцыбу, мне не нужно было даже вспоминать, где я его видел. Сходство было такое, что я сразу сказал себе, где. Может быть, тот, другой, из другого века, был вовсе не похож на себя. Но это был портрет Куцыбы, какою-то игрою кисти предсказанный больше, чем полвеком раньше.

Куцыба был не выше среднего. Высоко, как там, на портрете, взметнулись черные брови. Сквозь худосочную седую бороденку, казалось, просвечивало пергаментное тело. Было желто бескровное лицо.

Завязанные веревочкой очки он сдвинул на лоб, и на меня смотрели остренькие и внимательные, но с налетом жизненного утомления глаза, — *как те*.

Часовщик вышел ко мне в серой рабочей блузе, подпоясанный тоненькой бечёвочкой. С своим интернациональным лицом он так мало шел к русскому провинциальному городку!

Как на месте он был бы, например, в Лейпциге, в лавочке отдаленного квартала, в роли старого букиниста, прошедшего весь век книжным червем среди запыленных переплетов!

ХІІІ

Не буду, господа, передавать нашего разговора. Тут дорого общее впечатление. Вы мне поверите, что под этим впечатлением недоумение мое еще более возросло. Право, это была копия Данилы Матвейча и не только по внешности.

Я не мог подосадовать на того, кто меня послал к нему. Это был, действительно, странный человек, у которого своеобразным, сектантски-мистическим настроением окраши-

валось все. Надо было послушать его, как он говорил о своих алмазах, о своих пациентах!



Во время разговора из под кровати выползла маленькая собачонка с перевязанными задними лапками. Куцыба пояснил, что подобрал ее на улице из под телеги. Погладил ее по самому носу.

— Вы, вероятно, не едите мяса? — спросил я точно по внезапному наитию.

— Не ем.

— И рыбы?

— Я ничего не ем. Никого не убиваю и никого не рождаю.

— А знаете, вы поразительно напоминаете мне одного человека...

Он слушал меня как-то равнодушно, когда говорил ему о Даниле Матвейче и расспрашивал его о предках. Не удивился. Не спросил ни слова. Никакого Данилы Матвейча в его роде не было. Ни отец, ни дед не жили в наших местах. Только, когда я кончил, он поднялся и торжественным голосом, как декламируют старики, громко прочел, точно в пространство, как-то мимо меня:

Твоей-то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну проходило
Мое бессмертно бытие,
Чтоб дух мой в смертность облачился.
И через смерть я возвратился,
Отец, в бессмертие Твое!

— Из Гавриила Державина, — благоговейно пояснил он.

XIV

Департамент рассудка говорил мне, что не случилось решительно ничего особенного, когда я уходил от Куцыбы. Произошло нечто самое естественное, что рассуждающий человек должен подвести под закон случайного совпадения. В мировой гармонии через много лет случайно повторилась одна мелодия. Да и так ли уж буквально повторилась? Ведь о том, первом, я знал только по слуху и портрету. И то, и другое могло ошибаться.

Может быть, есть закон, которого мы не знаем, и который дает внешние черты сходства людям одной психологии. Ведь не сказано ли давно, что мы к старости «выслуживаем» себе лицо? А вековая наследственность? Разве на лица

католических патеров исконные традиции быта и одна психика не наложили печати поразительного сходства? А римские патриции и императоры? А лицо пролетария всех стран? И если через сто лет явится другой Бисмарк по строю души, — кто знает, не будет ли у него лицо того Бисмарка, какого знаем мы и какого для веков записал Ленбах?

Это все я отлично сознавал и учитывал, но чувство мое было взволновано. «Феникс, феникс!» — шептал я, возвращаясь домой и потом, всю ночь, слушая громыханье вагона.

И мне казалось, что в жизни природы, так трезво распределенной по параграфам физикой Краевича и химией Менделеева, все-таки есть еще некая тайна духа, переплывающего «смертну бездну» бытия, которую никак не поймать ланцетами, тигелями и ретортами...

ХИРОМАНТИК

Homo sapiens dominabitur astris.

I

В первый раз я услышал о нем от своей квартирной хозяйки.

— Так что, — говорит, — сударь, вы бы сходили к этому человеку. Не пожалели бы. Необыкновенный человек, можно сказать. Он по вашей руке, что по книге, всю вашу судьбу прочитает. Далеко-то оно далеко, в Измайловском полку, — да уж полдня не расчет, а довольны останетесь. Одно слово — хиромантик. Живет он, собственно, под тем видом, как настройщик. Ну, вот по фортупьянной части. И во двор как войдете, на угле дома действительно дощечку с рукой видите — «настройщик, мол, такой-то». Но только это все для блезиру, — иначе, само собой, его бы давно из Петербурга выслали. А я бы вам и карточку от него раздобыла; знакомая у меня такая есть, ей это все равно, что наплевать, с улицы же он не всякого примет, — рекомендации требует. Как его дверь разыщете, так три раза в звонок ударите, а он уж смыслит. И сразу на него не набрасывайтесь, а дайте ему осмотреться. «Нам, мол, настройщик нужен, и нам вас рекомендовали», — а тем временем его карточку-то ему в руки. Тогда он вас к себе в коморку попросит и, ежели никого нету, так прямо вами и займется. Когда вашу руку смотреть станет, вы ему вопросами не мешайте, — очень он этого не любит, — а только слушайте, и, ежели когда он вам про прошлое говорить начнет, вас страх охватит, — вы этого ему не показывайте и виду. Как все скажет, — тогда его переспросите, чего не поняли, и он без сердцов вам на все даст объяснение. А когда встанет, это значит, пора вам его оставить, и тут он вам две маленькие копилочки неза-

метно на стол поставит, — на одной надпись «на нищих», а на другой ничего не написано. В первую вы что хотите положите, хоть гривенничек, ну, а ему меньше целкового вам неловко, потому он сразу увидит, что к нему за человек пришел. Коли не понравится, вы ему, конечно, можете и меньше, он в это время отвернется и нарочно покажет вид, что на вас не смотрит, а только думаю я, что он на вас потрафит, потому все от него выходят встревоженные и раздумчивые. И еще надо вам сказать, что, ежели у вас на руке что-нибудь очень печальное выходит, так он вам этого не скажет, чтобы человека не расстраивать, но просто предупредит, что предстоит вам нечто неприятное и молиться посоветует...

Все это было любопытно, а времена подходили праздничные, и можно было не пренебречь таким развлечением. Поблагодарил я хозяйку за ее предупредительность и говорю:

— Вы это очень мило рассказываете, и я бы вашему настройщику охотно принес дань своего суеверия. Как будет случай, не откажите мне в самом деле в его карточке и адреске.

— Для вас, сударь, я готова всякую услугу сделать...

Мы достаточно курьезно раскланялись, и я остался в ожидании любопытной аудитории.

II

В начале двадцатого века рискует показаться смешным тот, кто решился бы признаться в своем доверии к хиромантии. После этих строк, может быть, не один читатель перестанет интересоваться дальнейшим содержанием моего рассказа. Но я говорю не столько о хиромантии, как существующей и применяемой ветви таинственного знания, сколько о возможности научного подхода к этой области, испокон веков темной, загадочной и окруженной туманом сокровенного ведения. Точнее, речь идет о возможности не хиромантии, как искусства *гадания* по руке, но о правах на

внимание *хирогномии*, как науки определения человека, его характера, склонностей и в общих чертах его психологического прошлого по его руке. Нет сомнения, что в действиях людей, промышляющих этим делом, бездна бесцеремоннейшего и наглого шарлатанства. Нет спора, что в так называемых научных трактатах по хиромантии, от старинных латинских фолиантов, созданных главным образом мистикой средних веков, до новейших исследований, особенно значительных у французов, включительно до широко популярных Д'Арпантени или Дебарролей, — множество вздора и ненаучных, немотивированных положений. Но в этих горах шелухи и мякины не сохранилось ли зерно настоящего знания? Не завалены ли этим ненужным балластом семена незаурядной наблюдательности и плоды огромного жизненного опыта вдумчивых и пытливых людей, посвящавших целую жизнь этому делу? Не нужно ли только самому обладать зорким глазом, чтобы в горах угля и пепла уловить едва заметное мерцание огонька таинственного познания?

В сущности, это далеко не так глупо, как кажется с первого взгляда. Бальзаку, вероятно, никто не отказал бы ни в свежести и ясности ума, ни в огромной житейской опытности. А меж тем, он был горячо убежденным адептом хирогномии, и в его сочинениях вы найдете неоднократные признания в этой вере. Кто будет отрицать, что лицо есть отражение всего человека со всем его темпераментом и со всем прошлым? Пережитое безумие не читается ли в глазах человека, вышедшего из сумасшедшего дома и вернувшегося к счастью обладания трезвой мыслью? Не угадываем ли мы предстоящее помешательство за несколько лет по выражению глаз? Надвигающийся тяжелый недуг, задолго до наступления, не налагает ли печати на человека?

III

Почему наряду с лицом не быть таким же зеркалом ру-

ке, интеллигентнейшему человеческому органу? Рука — исполнительница воли мозга и рабыня мысли. Когда человек изменяет слово, она является его заместительницей, и жест выражает желания и мысли. По почерку с несомненностью определяется характер пишущего. И чем объясняется общность линий руки у людей однородного душевного склада, однородной профессии, одной добродетели и одного греха? Так называемый обруч на жизненной линии почему можно рассмотреть на руке каждого убийцы? Почему французские хирогномисты, исследовавшие руки Шиллеров, Гете, Дюма, Ожье, Ламартинов, Гюго, Прудонов и т. д., были поражены странным развитием у всех холма Аполлона (*Mons Solis*) и глубиной Аполлоновой линии (бугор и линия под указательным пальцем), говорящих о природном предрасположении к искусствам и поэзии, о гениальности и таланте, а руки Бисмарков и Чемберленов развитием Сатурна одинаково говорят о черте, которую хиромантия называет «наглостью желаний» и наблюдает у всех людей власти, силы, крови и железа? Чем объяснить такие случаи, как хотя бы предсказания известного хирогномиста Чейро, сделавшего недавно слепки с рук обитателей одного сумасшедшего дома в Иллинойсе и по ним с *безошибочной точностью* определившего, кто из них покончит с собой самоубийством, кто в безумии совершит преступление, кто выздоровеет, кто по выздоровлении снова вернется в окаянные стены больничного каземата?

Физиология утверждает, что линии на ладони — не результат механических движений руки, а отпечаток психической жизни. У новорожденного ребенка можно уже рассмотреть с поразительной ясностью начертанную сеть линий. У изнеженной интеллигентной женщины, с широко развитой умственной жизнью, ладонь испещрена гораздо большим количеством линий, чем у труженика-чернорабочего, рука которого никогда не разгибается во время целодневной физической работы. Как бы посредством электрического тока жизнь мозга находит отголосок в нервах руки (пачиниевы атомы). Чем сложнее эта духовная жизнь, тем запутаннее сеть линий руки. Ладонь делается горячей во

время лихорадки, когда пылает мозг. Она суха у страдающих сухоткой. Если крупные потрясения организма, — болезнь, печаль, ужас, — оставляют печать на человеке, изменяя его лицо, проводя морщины на лбу, превращая в одну ночь его волосы в седые, — может ли рука, непосредственно сообщенная с мозгом, оставаться безучастной к психической жизни человека? Самое плотное тело изменяет свою форму под вечным давлением.

В Риме, в соборе Петра, каменные ступени стерты ногами ползающих на коленях пилигримов. Следы их лобзаний видны на бронзовых ногах апостольских статуй... Неужели вечное отражение жизни души на руке не оставляет никакого внешнего отпечатка, по которому человек опыта и наблюдения мог бы восстановить прошлое и, может быть, предугадать будущее?..

IV

Но это, может быть, скучно, и похоже не на рассказ, а на лекцию, да, наконец, выводы из нескольких специальных книг трудно уложить в сотню беглых строк. Кто интересуется мистикой руки, если захочет, найдет эти книги. Мне остается вернуться к рассказу.

Скорее, чем я думал, через какие-нибудь три-четыре дня, в моих руках уже была засаленная и достаточно обтертая по углам визитная карточка, на которой убогим и избитым шрифтом были напечатаны всего три слова:

— «Антиох Паганакко, настройщик», — а внизу виднелись следы уже стирающегося карандаша — «Измайловский полк, 12-я рота, д. 16».

Передала мне моя хозяйка карточку и наставляет:

— Вы, сударь, в долгий ящик дела бы не откладывали, потому теперь наступят праздники, и у него сенокос начнется. Видимо-невидимо народу нахлынет, и вам тогда долго своего череду ждать придется. Да и он уж не так будет внимателен. И еще забыла вам сказать, — раньше шести

вечера к нему не ездите и субботу пропустите, — по субботам он шабашит и никого не принимает.

В день поездки я случайно побывал у одних своих родственников. Смеясь, я рассказал здесь о предстоящем развлечении, и одна из моих двоюродных сестер, с которой мы водили особенную дружбу, сильно этим заинтересовалась.

— Ах, говорит, как это любопытно! А ты меня с собой взять не можешь?

— Отчего же, Вера? Я думаю, можно. Карточка у меня с собой.

Взглянула она на карточку.

— Какая, — говорит, — противная. Неприятно в руки взять. И какая странная фамилия! Что он, грек или армянин? Па-га-на-ко! Точно от корня — «поганый».

— Не знаю, — отвечаю, — армянин или грек, а только моя хозяйка говорит: «Одно слово — хиромантик». Надо поехать. И знаешь что, — представимся ему, как муж с женой. Это смешнее...

Она расхохоталась, надела себе тут же для пущей видимости обручальное кольцо своей сестры, а мне своего брата и — мы поехали в двенадцатую роту.

V

...Я этих мест не люблю. Никогда в них живать не случилось и, должно быть, поэтому, когда сюда попадешь, чувствуешь какую-то нервную подавленность неизвестностью места. Камень и кирпич, отсутствие дерева, хотя бы оголенного, в небе черные змеи фабричного дыма, заводские трубы, как чьи-то предостерегающие, поднятые персты, чернеющие в морозном сумраке, и хмурые, постыло-казенные громады казарм...

Теперь улицы поразрослись, почистились, а тогда все это выглядело как-то убого и безжизненно. Человек, бьющий на мистические слабости себе подобных, не мог бы подыскать лучшего местопребывания. У 12-й роты мы отпус-

тили извозчика и пошли пешком. Я был предупрежден, что Паганакко избегает популярности и даже уклоняется от бесед с посетителями, подъехавшими к нему на ваньке.

Вот и 16-й номер. Все, как говорили. Убогий, точно вдавленный в землю домишко с мелкими, подслеповатыми окнами нижнего этажа, похожего на подвал. Такое впечатление, что — приехал бы часом позже, — эти окна совсем бы ушли в землю. Сбоку узкая калиточка с кирпичом на блоке, и во дворе, сразу за нею, действительно дощечка — «настройщик». Фонарь бросает во двор слабую полосу света, и в ней можно разобрать на стене дощечку и указующий перст, как водится, вывихнутый. Вот и войлочная дверь с набитой на ней такой же, как у меня в руках, карточкой. Признаться ли, — моя рука дрогнула, когда я трижды потянул ручку звонка. Противно задребезжал звонок, — так и вспомнилась сцена, где в такой же звонок звонит Раскольников пред дверью ростовщицы. Обычная нервность, что ли, или незнакомое место так настроило, но только сердце бьется беспокойно, и в душе какое-то странное ощущение не столько страха, сколько гнушения и отвращения к чему-то еще даже и не виденному...

Через минуту за дверью что-то стукнуло. Зазвенела скоба.

— Антиоха Паганакко можно видеть?

— Я и есть. Войдите.

VI

Отвратительный трескучий голос и отвратительная фигура! Гном. Маленький и хромоногий, с белым, блестящим старческим лицом скопческого типа. На глазах выпуклые дымчатые очки, в фокусе которых сверкает блик света от висящей на стене и коптящей маленькой керосиновой лампы, и этот блик совершенно скрывает направление его взгляда. Чудится, будто эти сверкающие точки — огоньки его собственных глаз, и что он глазами смеется в то время, как



все его лицо серьезно и сложилось в пренебрежительные складки. На, очевидно, выбритой голове — феска-скуфеечка из коричневой шерстяной материи, и сухое тело облачено в худенький, порыжевший пиджак и зеленый шарф на шее. По тому, что он застегивается и оправляет шарф, похоже на то, что он был в «неглиже» и для нас специально примундирился и шарф накинул.

Протягиваю ему его карточку и говорю, что нам его рекомендовали, но он в ту же минуту карточку мне возвращает обратно и говорит:

— Знаю, знаю, — разденьтесь, пожалуйста, и — благоволите сюда.

И сам прошел в соседнюю комнатку, куда следом за ним, сняв шубы, вступили и мы.

Комнатка крошечная и, надо сказать правду, без всякого расчета на сценический эффект. Каких бы здесь можно было навешать крокодилов, чучел сов и летучих мышей, настраивающих картин и всякой банальной, но производящей впечатление бутафории чародейства. Ничего подобного, а вместо этого совершенно заурядная обстановка шаблонной мещанской комнаты, — разнокалиберные стулья, протертый клеенчатый диван, потрескавшийся комод. Единственная картинка на стене — какая-то старинная, в листок *in octavo*, пожелтевшая гравюровка, прикрепленная к стене просто четырьмя булавками и изображающая нечто достаточно сумбурное, — какого-то голого старца с крыльями и косой, опершегося на локоть и прислонившегося к земному шару, над которым парит ангел, указующий вперед, в высь, пылающим факелом. Аллегория во вкусе тех, которые любили масоны и которых немало рассеяно в старых мистических книжках двадцатых годов.

Старик прошел еще дальше, оставив нас наедине. Видимо, эта комната служила приемной. Мы сели. И опять чувство какого-то омерзения ко всему, — и к продранному, точно липкому дивану, и к аллегорической картинке, и к душному воздуху комнаты, в которой точно только что накурили чем-то приторным и слащавым, — поднялось и стало расти в душе.

Мы просидели минуты три и уже начали переглядываться не без недоумения. Но вот старик, ковыляя, вышел из своего кабинетика, подошел ко мне и положил передо мной разогнутую старинную книжку.

— Пока благоволите почитать, а вы (он протянул руку к моей спутнице) пожалуйста.

Сестра замялась.

— Но у нас нет секретов. Мы муж и жена. Может быть, можно вместе?

— Нет уж, я попрошу особо. Супруг ваш подождет. Вы не бойтесь. (Он скривил рот в противную усмешку.) Если хотите, мы и двери не закроем...

Она кивнула ему в знак согласия и вместе с ним скрылась в соседней конурке.

VII

Прежде, чем начать чтение страницы, отмеченной большим красным крестом сверху, я взглянул на первый лист книги. Это был третий том знаменитого сочинения Экартсгаузена «Ключ к тайнам природы». Книга эта, изданная в 1804 году — очень большая библиографическая редкость. Чуть ли она в свое время не была сожжена, и у антиквариетов считается *albo cogno rarior**. У них она чуть ли не ходячий пример редкости и всегда предмет большого похваления, если к кому ее занесет случай. Вверху страницы стояло напечатанное вразрядку — «Глава, которую трижды прочесть должно».

Я начал читать, с трудом сосредоточиваясь и улавливая сокровенные цели старика. Случайно он занял этим мой ум или к чему-нибудь меня подготавливает? В главе говорилось о необходимости высокой осторожности в деле испытания мистики природы.

«Нет ничего опаснее, как заниматься мистическими науками и ничего труднее, как не впасть при том в сумасбродство... Тысячи людей доведены были мистикой до умоисступления... Не праздность, но истинная деятельность любви есть наше назначение... Не должно забывать, что сила воображения имеет над человеком больше силы, нежели разум, и потому легко может его уродовать... Испытывать сокровенное с терпением есть упражнение разумного. Попускать себя увлекать мечтам есть свойство безумца...»

Что же это, — слегка, но чувствительно этот Терсит из 12-й роты сечет праздного интеллигента, который от нечего делать силится подсмотреть от века утаенные тайна природы, к которым подходит с священным трепетом и благоговением мистик 18-го века, — или, наоборот, он верит в напряженность моей мистической пытливости и лишь предупреждает меня от крайности?

* Более редкой, чем белый ворон (*Прим. авт.*).

Я читал настолько тяжело и медленно, что едва успел кончить растянувшуюся на шесть небольших листов главу любопытной книги к тому времени, как у дверей стариковского кабинетика показалась и Вера, и хиромантик. Мельком я увидел ее побледневшее и совершенно серьезное лицо и перевел взгляд на сверкающие точки в очках ее спутника.

— Теперь попрошу вас.

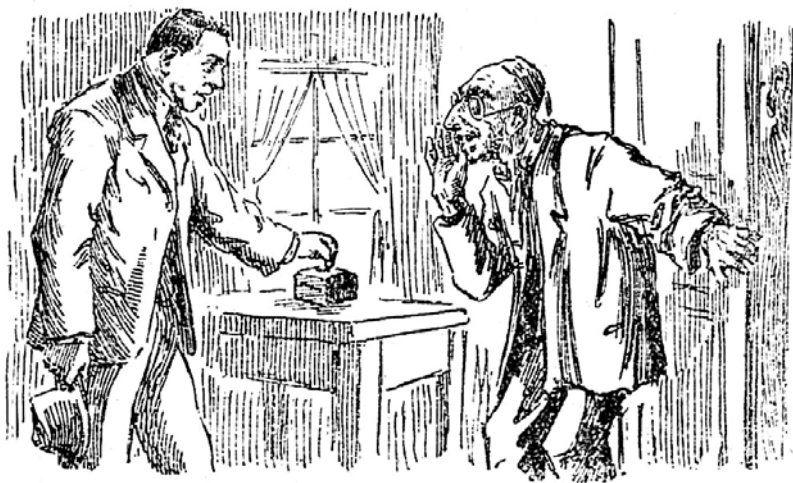
VIII

В кабинетике — то же отсутствие атрибутов чародейского ремесла, но много книг, производящих действительно импонирующее впечатление. Перед ним на столе в углу разогнутая еврейская Библия, которую, может быть, он до нашего прихода читал и отодвинул, а теперь он сидит у простого, покрытого черной клеенкой стола и нервно перебирает странички небольшой рукописной тетрадки с закруглившимися и скатавшимися уголками, письмо в которой, очевидно, не русское, а не то греческая вязь, не то еврейский усатый штрих.

Теперь он сидел не против огня, и сквозь мутное стекло его очков я видел его умный взгляд, пытливый и чуткий, скрывающий много наблюдательности и, может быть, еще больше проницательности. Лицо несомненного восточного склада носило отпечаток энергии и ума, но известковая белизна и блеск лба производили отталкивающее впечатление, точно это был не живой человек, а восковая фигура.

— Сполосните руки... Вот здесь... Оботрите платком... Позвольте левую. Покойная ладонь. Рука удовольствия. Кривая линия жизни — берегите здоровье... И разорванная, — лет в двадцать перенесли болезнь, едва не стоившую жизни... Берегитесь сорокового... Орел на головной линии — потеря глаза в старости... Полукруглая линия печени — склонны к предчувствиям. Кольцо Венеры разорвано, и остров на Юпитеровой линии — бурное прошлое... Крест на

Юпитере — супружество по любви... Испорчен Марс — невоздержны и запальчивы... Луна царит на воде... Один... Два... Три несчастных знака, — бойтесь воды... Раз уже тонули... тринадцати-четырнадцати лет... Можете не бояться железа, тюрьмы и эшафота... Крест на Сатурне — мистицизм и, может быть, гибельный... Избегайте женщин с влажными руками... Две сестры, у головной линии — к счастью... И *soror vitalis*... Сестра у жизненной линии... Много друзей... Запомните две вещи — сороковой год и — луна царит на воде... Размышляйте над сказанным и обращайтесь ваши роковые знаки в счастливые предопределения... Нет ничего непреложного. Кресты печали обращаются в звезды радости. Только согласуйте жизнь с тем, что предрекает природа. *Homo sapiens dominabitur astris*... И если угодно, уделите нечто от своих избытков бедным.



Передо мной звякнула копилочка с надписью: «на нищих». Я опустил в нее приготовленный полтинник и потянулся с рублем к другой копилке, стоявшей на подоконнике. Старик отвернулся, сделал шаг к двери, прикрыл ее и, понизив голос, сказал:

— Ваша спутница... Я ей не сказал... Но у нее ясный крест на конце линии жизни...*Signum mortis*... Крест смерти... Не пугайте ее, но блюдите осторожность... Если эта неделя пройдет, — пусть боится следующего седьмого года...

Как подобает любезному хозяину, он, ковыляя, проводил нас до вешалки, подождал, пока мы оделись, и глядя уже на одевающую Веру, улыбнулся и сказал:

— А по вашей руке я бы ошибся... Я бы сказал, что вы не замужем... Иногда и Гомер дремлет, — и хиромантия ошибается...

IX

Я вышел из конуры Паганако в полном недоумении. Черт возьми, кто же он, — мудрец, чутким глазом подсмотревший сокровенное, или наглый шарлатан, которому пустяк отравить человеческую душу тоской ожидания смерти? Но в таком случае, как же он безошибочно бьет как раз в нужные точки, и откуда ему известно, что я тонул, что я в двадцать лет умирал, что мне грозит слепота, которую мне так дружно сулят и люди науки? Спрашиваю свою спутницу:

— Ну, что скажешь?

— Представь, — отвечает, — я никак не могу разобраться. Много он сказал мне правды, иного я и сама о себе не знаю, но он меня расстроил тем, что велел эту неделю молиться. «Только эту неделю! Молитесь, чтобы миновала напасть». И испугал меня тем, что по какой-то линии нашел, будто у меня на веку будут три удара в голову. «Два уж, — говорит, — были, а от третьего помрете». И еще — «отсчитайте себе шесть лет и бойтесь седьмого». Знаешь, какая странность, — у меня в детстве действительно была расшиблена голова. Подбежала под раскачавшиеся качели — «меня, меня!» — и от удара так и легла пластом без сознания. А тебе что сказал?

— А мне, — смеюсь, — не легче: ослепну на один глаз и помру от губельного мистицизма. Однако, странно, что он угадал в тебе незамужнюю!

В этот день я проехал в эту родную семью. От впечатлений визита память долго не могла отделаться и в особенности еще из-за одной частности. Рассказала Вера в семье про свои удары и отмечает верность замечания.

— Только, — говорит, — в счете ошибся, — не два, а один.

А ее мать ее поправляет:

— А ведь, если хочешь, Верочка, то и действительно два. Когда тебе было лет пять, тебе делали трудную операцию над ухом. И думали, что уж тебя не отходим. Это так старо, что ты об этом и сама забыла...

Пришлось опять удивиться, но еще больше удивился я дня через три, получив от Вериной сестры письмо. «Над нашей семьей едва не пронеслось ужасающее несчастье. Вчера Верочка ехала на извозчике и, несмотря на ее предупреждения, негодяй помчал лошадь впереиз конке и вывалил бедняжку под самые ноги лошадей. Каким-то чудом удалось остановить их. Уж одна копытом измяла ридикюль, что был у ней в руке. Представь ужас, если бы несчастье совершилось! Она нервно потрясена, но это пустяки перед тем, что могло быть...»

Прочитал я и отер пот, выступивший на лбу. Типун бы тебе на язык, хромоногий маг из двенадцатой роты!..

Х

Может быть, это странно и неправдоподобно, но через шесть лет сестра Вера умерла, и умерла, разбив голову об острую тумбу, поскользнувшись в гололедицу. Если хотите, все это ряд простых случайностей, сложившихся удивительно выгодно для колченогого «настройщика», который сам, может быть, удивился и засмеялся бы, узнав, что он так правдоподобно налгал. Жизнь иногда прихотливее вся-

кой выдумки, нелепа и забавна и играет в руку шарлатанам.

Трагический случай с двоюродной сестрой, конечно, оживил впечатления нашей поездки к Паганакко. Вдвоем с одним приятелем мы снова съездили в Измайловский полк. Было любопытно, что сказал бы мне Паганакко теперь, разумеется, позабыв то, что говорил шесть лет назад. Но мне не суждено было удовлетворить свое любопытство. Было поздно. За шесть лет утекает много воды. Даже убогого домишки Паганакко не было следа. Приблизительно на его месте вырос питейный дом. На улице было шумно. Где ютился старый мистик, разворачивались сцены живой действительности, которые, впрочем, никак нельзя было бы называть *резво* реальными...

БУКИНИСТ

(Из книги «Мистических рассказов»)

I

Несколько лет назад некоторыми лицами из петербургской несомненной и большей частью близкой разным видам искусства интеллигенции были получены обычным почтовым порядком странные письма. Написаны они были на старинной, вышедшей из употребления бумаге, с неясными водяными знаками, слегка дрожащим и крайне своеобразным, но совершенно отчетливым почерком, жидкими и порыжевшими чернилами, какими пишут старики. Письма не имели подписи и обычно носили обличительно-назидательный характер, главная же странность их заключалась в том, что в них были иногда совершенно определенные указания, иногда же более или менее двусмысленные намеки на такие частности жизни и поведения адресатов, о которых могло быть известно только им одним. Тот, кто писал, был как бы олицетворившейся, ходячей их совестью и, так как укоризна была всегда справедлива, а с другой стороны, била иногда в вещи и поступки, которые погрешивший мнил сокровенными от веков и родов, — то письма всегда производили впечатление и смущение и будили беспокойное любопытство.

Писавший предварял, что лучше и о самих письмах, и о содержании их никому не поведывать, ибо вся их цель — исключительно личное «исправление» человека, и если они побудят его «войти в клеть свою» и временно в ней уединенно затвориться для самоиспытания, — то и этого и довлеет. Излишние же разговоры чужды полезности и даже могут породить в обществе праздные «умомечтания», которые способны охладить и рассеять совесть, уже уязвленную и над собою задумавшуюся. Однако, эти предварения, видимо, не всем казались многозначительными, и часто, когда

в обществе, по тому или иному поводу, заходила речь о загадочном учителе или коллегии самозванных учителей, — не один из присутствующих признавался, что для него этот разговор не новость, и такие письма и к нему долетали.

В поле моего зрения такое таинственное попечение выпало на долю некоторых людей очень различного положения. Получал такие письма один старый архимандрит, проживавший в нашей Невской лавре, почтенный и влиятельный, в особенности в последние годы перед своей смертью. Настойчиво называли имя одного сановника, который будто бы даже не скрывал своего общения со странным корреспондентом и подчинялся его советам, не раз убедившись, что он не во зло советует. Приходили письма и к некоторым литераторам и, между прочим, к представителю одного ведомства, очень близкого литературе, но не пользующегося особенной любовью писателей, — человеку, который, держа в своей руке огненный меч, другой рукой воздавал почтение музам.

Однажды захожу к нему и застаю его как бы в некотором смущении.

— Вот, надо, — говорит, — ехать в сегодняшнее заседание и воевать, а одна частность меня смутила и, — смешно сказать, — почти расстроила. Между нами, — с некоторого времени меня преследуют анонимные письма...

— Но кто же, — спрашиваю, — огорчается анонимными письмами?

— Я знаю, — возражает он, — как надо относиться к анонимным письмам. Но это особенные. В них не было бы смысла, если бы их писал не человек, явно желающий добра. И еще — смущают не столько сами письма, сколько очевидный вывод из них, что за мной учрежден как бы чей-то негласный, но цепкий надзор. Может быть, просто кто-то шутит со мной первоапрельские шутки, но это ощущение недоуменности во всяком случае неприятно и тягостно. Вы умеете сохранять секреты?

— Вы меня не со вчерашнего дня знаете.

— Прочтите. Это сегодняшнее.

Он подал мне небольшой листок толстой старинной бумаги, на которой печатались книги в десятых-двадцатых годах, и вскрытый узкий конверт с небольшой сургучной печатью, изображавшей в середине круга простой продольный крест. На листке было написано:

«Заставляете скорбеть о себе. Отпугиваете вашего ангела. Вечером прошлого четверга не уязвлена ли ваша совесть? Не полагайте, что невидим грех. Видим грех. Хотел приблизиться к вам, но вы отделились. Были ближе к свету, стали далеко. Испытайте наедине свою совесть».

— А в виде комментария, — пояснил мой знакомый, — прибавлю, что действительно четверг мне гнусен, потому что, в угоду сильному, я в этот день поступил против справедливости, и дорого бы дал, чтобы это переделать. Очень возможно, что это простая случайная угадка, но скорее не случайность и не угадка. А главное, кому это и для чего понадобилось надо мною шутить или меня выслеживать? И то и другое одинаково странно. Кажется, я, с одной стороны, уже вошел в меру возраста совершенного, а с другой, не подаю особенных поводов к юморизированию над собой.

— Как же вы, — спрашиваю, — объясняете эти поучительные послания?

— Нет невозможного, что посейчас у нас существует какая-то запоздавшая ветвь масонства или розенкрейцерства. Это, конечно, было бы совершенно в их причудливом стиле и жанре — возводить человека к совершенству и попутно вербовать в свою ложу. Этот способ они встарь широко применяли. Но уж больно это не по нынешним холодным и немистическим временам. И у меня шевелится более настойчиво мысль, что это не мистическое, а мистификаторское дело, и для этих целей, может быть, учреждено за мной даже и некоторого рода шпионство.

— И вы можете предполагать, кто это?

— Если это действительно мистификация, то это дело рук непременно того, на кого я думаю. Это N.

Он назвал одно, по тому времени очень крупное литературное имя, имя странного человека, умевшего соединить

глубокий и философски настроенный ум и большой художественный талант с непонятной потребностью обмана и какой-то не всегда безвредной шаловливостью и даже мальчишеством духа.

— Мы когда-то были близки, — пояснил мой собеседник, — и не раз похищали часы у ночи на разговоры о мистике, а потом разошлись.

II

Для меня тогда было время первого любопытства к оккультизму, первых, как встарь выражались, «устремлений в светозарный мрак мистики». В сущности, не спит ли до поры до времени мистик в каждом человеке и не нужен ли только простой толчок, чтобы он пробудился и поднял голову, как нужно первое повышение воды, чтобы река взломала всю зиму державшийся лед?

В случае таинственной переписки было нечто интригующее. Это, конечно, было делом человеческих рук и, вернее всего, мистификацией, но, во всяком случае, это выходило из границ обыденного и шевелило мысль, устремляя ее в догадки. Единоличный ли это замысел человека, которому скучно жить, а ежегодная рента позволяет ничего не делать, или это дело целой компании чудаков, которой, разумеется, легче и установить за кем-либо род надзора? Или это в самом деле своеобразное осуществление плана перевоспитания человечества запоздавшего родиться мистика-идеалиста, ибо, в самом деле, не лучший ли способ показать сильному его грех, о котором все молчат, — уязвлением таким путем его совести, может быть, и без того смущенной и слегка ноющей? Наши прадеды верили в такое действие внушения на расстоянии и, возможно, что иногда и достигали цели.

Конечно, нельзя было прийти ни к чему в своих догадках, но прийти к чему-нибудь было бы очень любопытно, в особенности уже потому, что недели через две, через три

на своем собственном столе я нашел письмо из того же источника и с той же печатью.

«Устремлением внимания в область положительного знания, — писал мне мой неведомый и неожиданный советчик, — век замыкает себе дверь в светлую область духа. Но выше духовное, нежели земное. Не гасите в душе начала любви к таинственному. Всмотревшись усиленно в свою жизнь, усмотрите в ничтожном и мелком — многозначительное, важное и таинственно-мудрое. В сем путь к истинному щастию, коего сейчас вотще ищете. Щастие в этом знании, которое достойных его само обходит ищущи, легко видимо любящими его и обретается взыскующими. Ищите в уединении и молчании и читайте, что писали *знавшие*, а о письмах умалчивайте».

Почерк был своеобразно красив какой-то полуустановной витиеватостью. До некоторой степени, действительно, письмо давало иллюзию старины, с которой не рознил и стиль письма и даже характерное «щастие» и «вотще». Стильная ли это подделка или в самом деле есть где-то чудак, живущий все еще в старом веке, проникнутый его взглядами, симпатиями и идеализмом? Не сидел ли он рядом со мной где-нибудь в обществе, где заходил разговор о загадочных письмах? Быть может, этот таинственный «кто-то» подстерег не мои думы, когда я сидел за своим столом, в вечернем уединении, за литературой мистиков, а подслушал мой интерес к нему, когда я вслух говорил о загадочных посланиях к моему знакомому.

За неимением ничего лучшего, оставалось принять последнее объяснение. Но новое письмо, скорее записка, где десяток слов улегся всего в две строчки, склонял как будто к иным предположениям. В письме стоял только один известный стих:

«Прежде, неже возгласи тебе Филипп, суца под смоковницею видех тя».

Это уж выходил совсем как бы ответ на мою затаенную мысль, ответ образный и аллегорический, но такой, который можно было прямо и без всякой натяжки приладить к шевелившемуся в душе вопросу.

«Нет, тут ни при чем твой знакомец, а я раньше читал в твоей душе твои мысли». Конечно, и это могло быть случайностью, но на этот раз впервые приходилось над письмом серьезно задуматься.

В конверт была вложена другая записка. Она оказалась списком книг мистической литературы — латинской, немецкой и русской. В подборе чувствовался вкус и знание. Среди знакомых имен, насколько знал, я не нашел ни одного шарлатанского имени.

Новое письмо пришло на следующей неделе. Оно было очень кратко. «Продолжайте быть деятельным учеником, — писал незнакомец. — Любовь, труд, уединение и молчание. Тоскуете по невозможности общения и руководства. Руководитель идет к вам. Не пренебрегите им, ввиду скромности его положения. Худородная мира и уничиженная избра Бог, да премудрые посрамит».

«Тоскуете». Слово было не то. Таинственный корреспондент преувеличивал. Но не скрою, во мне уж шевелилось жгучее и тревожное любопытство. Еще по-прежнему я ничего бы не мог сказать в пользу или против моего непрошеного учителя, но было совершенно ясно, что он не хочет меня оставить и не оставит в покое. И с интересом и нетерпением я приготовился ждать идущего ко мне навстречу загадочного и непрошеного «руководителя».

III

В свободный час я люблю бродить по лавкам нашим антиквариетов разного рода. Под низкими потолками помещений Апраксина и Александровского рынков еще посейчас есть многое, стоящее высокого внимания. В старину водились в них настоящие сокровища. Теперь здесь не найти Рембрандта или Ванديка «за красненькую», но можно найти Айвазовского и наткнуться на великолепные уникалы старого искусства или на книгу, уцелевшую от воды, огня и даже от острия меча цензора эпохи Екатерины и Алексан-

дра Благословенного, когда, после истории с Новиковым, а потом указа о закрытии масонских лож, книги жгли тысячами. Иногда удастся отыскать здесь и интересную рукопись, — как удалось, например, найти однажды переписку Герцена на московской толкучке.

В этих лавках старинщиков среди всевозможного бумажного хлама подчас не редкость встретить кой-кого из наших литературных стариков или записных любителей старины. Несколько лет назад здесь можно было часто видеть старика Лескова с палкой, в шубе и меховой шапке с козырем, покойного певца Стравинского, большого библиомана, или старообрядческой складки фигуру знаменитого библиографа Е. Эти уж были аристократами в искусстве и людьми состоятельными, но сюда же властно тянет и литературную богему. Это для нее своего рода благородный спорт, захватывающий не практическим расчетом купить рубль за алтын, но удовлетворяющий законной потребности красивого, которое изящной душе хочется насадить даже и в убогой «меблировке». Потому-то эту, в молодости заведенную слабость, трудно бросать, и придя в возраст и завоевав положение. Есть ко всему этому какое-то прикосновение старины к тайне, что-то в ней манящее и интригующее, и это влечет в свою меру и силу. Наконец, среди самих старинщиков попадается любопытный и своеобразный тип людей, с которыми литературному человеку иногда поговорить любопытно и полезно. Видимо, одно простое, но постоянное прикосновение к книге отбрасывает луч света даже на простецкий ум, и мне случилось находить здесь людей серьезной и многогранной начитанности и живого природного смысла.

В один из осенних вечеров того года я проходил по длинному книжному ряду одного из наших рынков. Темнело. С противоположной стороны улицы, через открытую форточку трактира, излюбленного рыночным обывателем, доносились сильные, точно простуженные звуки органа. Коптели керосиновые лампочки в лавках. Сновал покупатель по галерейке, его зазывали и над ним пересмеивались при-

казчики. Заезд оказывался из неудачных, и я уже готов был воротиться домой, когда увидел свет в крайней лавочке...

Странная это была лавочка. Крошечная и, по-видимому, скудная, обычно она стояла запертой, и увесистый заржавевший замок, похожий издали на огромного клопа, сидел на болте, замыкавшем дверной ставень. Никогда я не мог, увидеть ее хозяина. Когда лавка была и отперта, в ней переминался с ноги на ногу сопатый мальчишка со стаканом грязного чая в руках, и что бы у него ни спрашивали, на все отвечал, что такой книги в лавочке «сейчас нет». Порыться на полках он не позволял и, утирая нос, разъясняя, что хозяина нет и долго не будет, а потому все равно о цене договориться будет не с кем. Это повторялось так часто и было так странно, что у меня, не совсем по этой части неопытного, уже мелькала мысль, не существует ли эта лавочка так называемой у антикваров «темной» торговли, которая процветала в старину и могла еще быть в те годы. «Темный торговец» былой поры имел дело с заходящим покупателем только для прилику и отвода глаз, главной же его деятельностью было удовлетворение «своего», постоянного покупателя, которому он, по его заказу, доставал «темную» книгу из тех, что не выдаются в библиотеках. Купят у него на полтинник в продолжение дня или не купят, — для него было безразлично, потому что на стороне добывались им хорошие деньги, а приспешники его, раздобывающие для него нужный материал, хорошо знали, в какой час и в каком трактире его можно увидеть.

На этот раз дело обстояло иначе. Лавочка была освещена, двери раскрыты, и у входа стояла фигура как бы всматривающегося в лицо человека с выцветшей узкой бородкой, как у митрополита Исидора, которую духовные именуют святительской. Когда я почти поравнялся с лавочкой, стоявший у дверей человек слегка отскочил в сторону, явно уступая мне дорогу в свой чулан и, слегка дотронувшись рукой до теплой меховой шапки с козырьком, но ничуть не приподняв ее, произнес:

— Пожалуйте-с! — таким положительным и уверенным тоном, как будто бы не договорил:

— Я вас давно поджидаю.

IV

Жестяная лампочка с жестяным же потускневшим и засаленным рефлектором освещала узенькую лавку и спуск в подвальное помещение, сплошь усеянное книгами. Свет ее падал на лицо моего нового знакомого, — маленькое, высушенное, землисто-бурого цвета, с глубоко запавшими глазами, с выражением не то беспокойной подозрительности, не то затаенного любопытства. Сам он мал ростом и сух, и вся фигура его и лицо из тех странных фигур и лиц, по которым совершенно не определить лет. Может быть, сорок, а может быть, и все шестьдесят! Какие-то странные и неприятные черные пятна легли на ввалившиеся щеки, — точно в поры кожи засела и не отмывается земля. Седые усы подстрижены и торчат острой щетиной, и от них и от взмаха тонких бровей лицо получает какое-то выжидательное выражение насторожившейся рыси. Пальто на дешевом меху, со слегка облезавшим воротом, тесно облегло эту маленькую фигурку, точно с картины Франчески Гойя, и издали, не видя седой бороды и лица, его можно принять за подростка...

Войдя следом за мной в лавочку, старик с проворством юноши привскочил на табурет, протянул руку на верхнюю полку и снял обернутую в газету небольшую связку книг.

— Вот это будет вам любопытное и нужное.

Это было немножко самоуверенно, потому что могло оказаться как раз тем, что мне в тот час было и не любопытно, и не нужно, но он быстро и ловко развернул книги и стукнул ими об стол, ставя их корешком кверху. Было странно, но это в самом деле оказывалось то, что меня интересовало, и все это в своем роде замечательно и редко. Даже в качестве неопита я уже знал, что вся эта мистическая мудрость в свое время энергично преследовалась, строго отбиралась при обысках от книгопродавцев и частных лиц,

и была сожжена Прозоровским и Курбатовым еще при Екатерине. Я ушел в эти небольшие старые книжки, напечатанные побледневшей краской на плотной старинной бумаге еще «новиковским изданием», а над моим ухом слышался спокойный и веский, внушительный голос:

— Ныне этим мало интересуются, господин. Прошла пора. Немногие теперь это знают и любят, да и те сидят по своим углам и о себе не рассказывают. И лучше молчать — такое дело. Не мечите бисера. Тяжело одному знать истину, но нужно одиночество истине. Горька истина. Не надо даже никому говорить, что вы мистик. К чему? Посмеются над священной тайной. Истина у немногих, и эти немногие помогут найти ее тем, кто ищет. Милости прошу ко мне заглядывать. Чем могу, — помогу, и еще что-нибудь вам приготовлю...

Выходило как будто так, что и то, что я сейчас смотрел, он именно для меня приготовил, и я не мог не улыбнуться и не поставить ему вопроса, — уж будто он предвидел мое посещение.

— Я чувствовал, что вы у меня будете, — без улыбки и даже как-то особенно раздумчиво ответил он. — Если вы станете внимательно смотреть в жизнь, вы увидите, что нет на свете ни одной случайной встречи, и нет ничего ничтожного и бесцельного. Все важно, мудро и разумно. Вы должны были встретиться со мной, ибо это для обоих нас нужно. И эти книжечки я не показал бы всякому. Всякому они не нужны-с. Для всякого — это вздор сумасбродства масонского. Давно его отвергли и осудили и ему посмеялись. Умные люди отвергали, и кому ж охота их проверять? Да, правду сказать, и мы с вами многое здесь отвергнем и осудим. И в самом деле, шелуха не отвеяна. Но отвеем шелуху, — пшеницы-то сколько!..

Он предложил мне спуститься по лестнице вниз, обещая любопытный материал. Две комнаты подвала, обширного настолько, что я едва мог бы это предполагать по входу и лавочке, были тускло освещены двумя лампочками. Было немножко жутко в этой полутьме, насыщенной запахом сырой залежавшейся бумаги, — специфическим запахом книж-

ного склада или библиотеки, которую не топят. Всюду книги, книги, книги, подмокшие, отсыревшие, с оборвавшимися и потрескавшимися корешками, точно гробы литературных мнений, угасших интересов, пережитых и сданных в архив увлечений. Преобладала старина, и чувствовалось, что здесь много хлама в этой, для чего-то хранимой журналистике прошлого — от «Благонамеренного» до «Полезных упражнений юношества», «Утренних зорь», «Амфионов» и «Каллиопа». Зачем сохранила ирония судьбы от гибели эти стопы испорченной бумаги, в которой теперь уж никто не прочтет страницы?

От них веяло какими-то далекими, умершими воспоминаниями, от этих обуявших и утративших душу сокровищ книжного погреба, похожего на кладбище, где на корешках переплетов я, случайный, запоздалый и чуждый гость, читал, как на крестах, имена умерших людей и названия забытых трудов. И этот сырой полусумрак подвала, и фигура странного старика, оставшегося там наверху, в шуме дня и атмосфере обыденности, и его убежденные слова — все это настраивало странно и нервно. Я заглянул во вторую комнату подвала и вздрогнул. Из угла его, где горел тусклый ночник, на меня глядели два больших, острых, болезненно возбужденных глаза. У ночника, с трехкопеечной книжкой для народа в руке, сидел мальчик. Лет 13-14-ти, худенький, бледный, в изношенном рыжем пальто и измятом картузе. Маленький костыль стоял подле его стула. И костыль, и как-то неправильно посаженная на плечи голова, и сам он, точно замуравленный в мертвом подвале, — производили необычное впечатление, дополнявшее общее впечатление этого вечера и будившее интерес к странным хозяевам странной лавочки.

Помню, я не без удовольствия почувствовал себя наверху, выйдя из подвала. Относительно книг мы сговорились очень скоро. Старик уступал их очень дешево, по цене совсем не на любителя, точно ему было приятно поделиться своими сокровищами.

— Совсем недорого продаю, — заключил он. — И сам их у вас, по этой цене, всегда возьму обратно. Хоть завтра.

— Нет, завтра я приду к вам, но не для того, чтобы вернуть книги, а чтобы посмотреть новые. А кстати, что это у вас там за мальчуган внизу?

— Мальчуган? А! Это мой паренек. Лампы караулит. От пожару. Пожару бы грехом не было...

V

На другой день я зашел к букинисту. Лавочка была заперта. Железный клоп, как всегда, сидел на двери. Сосед, торговавший готовым платьем, на мой вопрос ответил, что лавочка сегодня и не открывалась. Я ушел не без досадного чувства, а дома меня уже ждала весть от неведомого корреспондента. Он писал, между прочим, что теперь «руководитель подле меня», и мое «желание учения» может вступить в фазу деятельного осуществления. Ничего замечательного не было в этом теоретическом наставлении, но было странно новое письмо. Уверенным тоном здесь заявлялось, что я только что избежал большой катастрофы, и надо мной уже была распростерта рука смерти, но для этого еще не настало время, и случай явился лишь указанием мне видеть в ничтожном значительное.

Разгадывать письмо мне не приходилось. Если угодно, автор его был совершенно прав. Именно в какой-то из тех дней со мною приключилась одна из тех случайностей, которые мы обычно на другой день забываем и которые вместе с тем можно было бы, однако, заносить в книгу жизни, как многозначительные. Задремавший извозчик подставил мою пролетку под разогнанный дилижанс и, соскочив с нее прямо на рельсы, почти под дышло лошадей, я рисковал очень многим, если бы вагон не удалось мгновенно затормозить. Как всегда бывает, через пять минут, сидя на той же пролетке, я уже забыл о случившемся. Теперь кто-то, в самом деле умный и вдумчивый, делал мне об этом напоминание...

В новую субботу я прошел к букинисту, намеренно избрав его день и час. Уже издали был виден в лавочке свет. Старик по-прежнему приветливо пропустил меня в нее.

— Прошу милости. А я для вас опять кой-чего приготовил. Не благоугодно ли будет спуститься?

Мы сошли в подвал. Мимо нас проковылял наверх «паренек» с костылем, цепкими, как у обезьяны, руками хватаясь за перильце лестницы. Я заметил его худое, бескраочно-желтое лицо, какое бывает у людей, живущих ночью или вынужденных проводить дни в свете дымящего огня, а не греющего солнца. Он, видимо, шел караулить вход в лавочку. Старик был в том же одеянии, только на глазах его темнели густо окрашенные дымчатые очки.

Он был чрезвычайно интересен в этот вечер, мой загадочный «руководитель», и удивительно интересной оказалась его лавочка. Настолько-то я был знаком с делом, чтобы видеть, что его мистическая и вообще антикварная библиотечка была совершенно единственной для столицы. Он, видимо, был старинщиком по призванию, и на его лице, несмотря на странно замаскированные глаза, можно было читать настоящую, редко встречаемую теперь любовь к книге, когда он бережно вытаскивал с полки за корешки потускневшие и выцветшие томики.

— Капнистова «Ябеда», — говорил он, обтирая рукавом пыль с переплета. — Первое издание. Узнается по сему гравированному фронтиспису. По высочайшему повелению, отобрана во всех лавках. Автор сослан в Сибирь, но в тот же день возвращен обратно с возведением в следующий чин. А вот для нас с вами любопытнее — «Колыбель камня мудрых». Писана на языке масонов и сплошь курсивом. Из библиотеки розенкрейцера Шварца с его пометой и *exlibris*. «Об ислении и сожжении всех вещей по чудесам в царстве натуры и благодати». «Хризомандер» — открывает тайну алхимии. Сожжена, яко вредная. «Образ жития Энохова». Предисловие изымалось и сожигалось. Книготорговец Заикин был схвачен с нею на улице и приговорен к наказанию кнутом с вырезанием ноздрей и ссылке в каторжную работу. Экземпляры с предисловием — реже белого воро-

на. «Божественная и истинная метафизика» — Иоанна Пордеча. Напечатана в тайной масонской типографии. В продажу не шла, — токмо вручена главным сановникам масонства. Оставшееся — сожжено. В 200 рублей ходила книжечка. Госпожи Гион — «О последовании младенчеству Иисуса». Баснословно ценилась во дни мистицизма. А вот «Душеньки» шестое издание. Для нас с вами не нужно, а иным — великая ценность. Вся сгорела до выпуска в продажу, в нашествие галлов. Шестое, а ценнее и второго и третьего, потому те с пропусками, а это да первое — полные. А вот «Письма к другу об ордене Святого Креста». Очень редка. Извольте видеть назидательный виньет.

На выходном листе книги развернулась в самом деле оригинальная виньетка-гравюра. Радуга опоясала землю. Уткнувшись в грязь рылом, спала свинья. Осел, стоя задом к радуге и солнцу, щипал траву. Взлезшая на дерево обезьяна одной рукой держалась за ветвь, другой бросала камень в радугу.

— Любимая аллегория старых мистиков, — пояснил старик. — Прекраснейшее явление природы! Не надо пялить на радугу глаза, ибо она и в ручейке божественно отражается. Но зрители сего — осел, свинья и обезьяна. Один повернулся спиной и жрет траву, другая спит в грязи и гнусный зрит сон, а третью беспокоит солнце своим неугасающим блистанием, и она в него несмысленно камень мечет. Не так ли, — спросим себя, — и люди? Был, к примеру, на волос от смерти. Еще миг — и оборвалась бы нить. Упала стена вечности. Но нищ духом человек и продолжает спокойно щипать траву. Траву житейских попечений, так скажем. И забыл уж о том, что было. Некогда думать, — дел много!..

Намек на мою недавнюю катастрофу выходил очень определенный, а компания, в которую меня ставил странный старик, была совсем не лестной. Я внимательно сбоку смотрел на него. Но ничего нельзя было прочесть ни на его спокойном лице, ни в голосе. Ни улыбки, ни иронии. Скорее слышался в его словах оттенок раздражительной досады. Мысль сейчас ошеломить его врасплох вопросом, зачем он

следит за мной и пишет мне письма, вдруг мелькнула в моей голове, и мне стоило большого труда удержаться.

К счастью, старик заговорил снова, и я не заметил, как пролетел час нашей беседы. В подвале было сыро, начинали зябнуть ноги. Некоторые из книг он не убрал, но отложил на стол: «Это вот я вам рекомендую». Опять сразу мы сошлись в цене. Он присоединил к купленному еще две книги, прибавив: «Как прочтете, верните», и приподнял козырек шапки.

— Жду вас еще. Заходите.

— Может быть, лучше мне зайти к вам на квартиру, чтобы не отрывать вас от дела?

Старик будто вздрогнул.

— Нет, лучше уж пожалуйте сюда. А мною не стесняйтесь, — это я и считаю для себя настоящим делом. Живу далеко... Здесь же всякий четверг и субботу. Лавочку Лабзина запомните. Номер сто шестой. А книжечки мои прочитайте, не откладывая.

VI

Лабзин! Странное совпадение! Конечно, я знал это имя, хорошо известное в истории русского мистицизма. Неудовольствительный работник по его насаждению, издатель «Сионского вестника», автор знаменитого «Угроза Световостокова», переводчик множества мистических книг, скрывавшийся под буквами «У. М.» («Ученик мудрости»), воитель со Стурдзой и Фотием, кончивший ссылкой в Сенгилей и Симбирск, как в те ужасающие времена кончали многие. Уходя, я случайно бросил взгляд на вывеску лавочки. Там стояло «А. Лабзин». Совпадение до смешного! У того был тот же инициал имени!

Я уходил все более и более в ознакомление с отраслью исканий, еще не так давно мне чуждой и неинтересной. Эта область сулит неисчерпаемый и захватывающий интерес неوفиту. В ней — залежи старой мудрости и старого бе-

зумия, и есть в самом деле, как говорил мой «руководитель», в кучах книжной мякины полновесное и насыщающее зерно знания. Тут много и пристальной наблюдательности к «тайнствам природы», и острых и пытливых заглядываний в сокровения духа, которые теперь становятся уже предметом спокойного и не враждебного внимания эксперименталиста-психолога и медика. Почти бесспорно, что розенкрейцеры знали применения электрической энергии, беспроводной ее передачи и т. д. задолго до Эдисонов и Маркони. Химия к алхимии, астрономия к астрологии, медицина к знахарству не стоят ли в отношении ближнего родства? В самом деле, не в том ли только дело, чтобы отвезть шелуху от пшеницы? А старый букинист напевал мне при каждом новом свидании свои странные мистические речи:

— Есть другая мудрость, кроме обыкновенной человеческой мудрости. О ней ясно написано в книгах Соломона, и с них мудрые начинали свою науку. Для нее нет сокрытого, и пред ней раскрывается величайшая из тайн — душа человеческая. Все ей ясно, и состояние мира, и силы корней, и помышления человек. Чтение мыслей, по-нашему. С обычной точки эта мудрость — соблазн и безумие. А кто до нее дойдет, тому весь мир — сонный мираж. Только тяжело до этой науки дойти, и жить с ней тяжело. Все умрет, как ей в лицо взглянешь, — и радость, и печаль, — ничего не останется. Ничего такому человеку на земле не надобно. Только все любить будет: и воробья вороватого, и злак полевой, и кривого, и прокаженного, и собачонку последнюю. Весь мир усты ко устам облобызает. Людям до такой мудрости обычно нет дела, но нет-нет да и натолкнет на нее человека. А кого она ужалит, тот уж ей не изменит. В один случайный день увидит человек чудо и скажет своей земной мудрости: недалеко на тебе одной уедешь. И переменится... А чудо-то кругом явно зрится, только мы к нему, как свинья к радуге, спиной стоим и заметить его нам лень и некогда...

В книжном подвале всегда было тихо, сыро, сумеречно. То вспыхивал, то замирал дрянной керосин в лампочке. Было что-то точно средневековое в строгих и суровых очерта-

ниях ниш, усеянных книгами. Если правда, что на вещественном накладывается духовное, — сколько здесь дум и чувств должно было как бы прилипнуть к этим старинным отсыревшим книгам!

Я стал у Лабзина частым гостем и скоро перешел с ампула покупателя на ампула книжного абонента. Всей сокровищницы, конечно, нельзя было перекупить, да едва ли и было нужно. Загадочный старик обрисовывался предомной, как глубокий мистик, искренний и фанатичный. Только порой, как змеиные переливы, улавливались в нем какие-то подозрительные и странные черты. Старый мистик окутывал себя намеренным туманом и, как частное лицо, оставался теперь для меня таким же неизвестным, каким был в первый день знакомства. Я не знал, кто он и как живет, с кем водится и что делает всю неделю, кроме своих двух дней. С явной намеренностью он погашал всякий вопрос, вырывавшийся у меня насчет него. Я заговаривал со знакомыми мне букинистами, соседями его по рынку. «Умный старикан!» — говорили они в один голос, но одни были с ним вовсе незнакомы, другие поддерживали шапочное знакомство и ничем не могли пополнить моих справок. «Чудной старик... Как будто даже малость “с максимцем”... Живет одиноко... Не знакомится... В трактир не ходит... Покупает у них старье, — платит всегда щедро, не как букинист, а как любитель... Огромный знаток своего дела... Не только по печати, — по жуку* безошибочно угадает и место, и год напечатания книги... А только торговец, надо быть, плохой... Видно, больше на знакомого покупателя...»

Должен сознаться, эта таинственность становилась мне уже изрядно досадна, и тем более, что сам я жил перед стариком точно в стеклянном колпаке. Я по-прежнему не мог бы сказать, что письма, приходившие ко мне и теперь, хотя и реже, — писал он. Может быть, для него они были слиш-

* «Жуками» на языке букинистов называются четыре медные или деревянные пуговицы, обыкновенно приделывавшиеся в старину к задней доске переплетенной книги, чтобы при передвижении ее не стиралась кожа (Прим. авт.).

ком интеллигентны. Но теперь для меня уже не было сомнения в его полной насчет их осведомленности. Если писал не он, — он был в непосредственных сношениях с писавшим. Сряду и сплошь он делал намеки на письма, и в письмах бывали намеки на его речи.

А намеки на мою личную жизнь становились подчас нескромны и докучны. Кто-то за мной несомненно следил, но следил обычным человеческим глазом, и уже не раз мне пришлось улыбнуться на некоторые догадки моего пестуна. Это было именно то, что должен был предполагать наблюдавший за мной со стороны неглупый человек и, однако, освещалось иногда не моей настоящей психологией. Я осведомился у своего дворника, старого и верного человека, — не интересовался ли кто мной у него. Кто-то интересовался и недавно, но по признакам я решительно не мог угадать, кто был этот неведомый соглядатай.

— А еще какой-то паренек с костыльком с вашим Мишуткой подружился... Придет на двор и про вас спрашивает... Дома ли, мол...

Это была красноречивая улика, и я невольно становился подозрительным. Мишутка, восемнадцатилетний парень, служил у меня с полгода верой и правдой. Но приходилось всматриваться и в него. Я намеренно положил на письменный стол бумаги, заметив их положение, и придавил их маленьким ватерпасом, установив воздушный пузырек в центре. Для такой цели полезен иногда ватерпас и не только на столе инженера и техника. Тронет или не тронет? Не было сомнения, Мишутка соблазнился. Ватерпас лежал в том же направлении, но пузырек сдвинулся, и замеченные уголки листов не совпадали.

Однажды в сумерки, уходя из дома на целый вечер, я заметил шагах в двадцати, около соседней калитки, шмыгнувшую в нее маленькую фигуру. Я прошел вперед и заглянул во двор. Калитка была наполовину отворена, и на тумбе во дворе сидел «паренек» букиниста. Костылек стоял прислоненный подле него. Видимо, не ожидая моего внимания, он сидел ко мне спиной, выжидая, когда я отойду подальше и не видя меня. Я зашел за угол, не оглядываясь, и, ос-

тановившись здесь, невидимый ему, оглянулся и стал ждать. Фигура на костыле вынырнула из калитки, огляделась и — шмыгнула на мой двор.

В этот вечер я вернулся домой через полчаса. Слуга был уверен, что я приеду ночью. Именно из-за этого, вышла маленькая неожиданность. Подходя к дому, я увидел огонь в моем кабинете в нижнем этаже здания. Мишутка стоял перед открытым ящиком моего письменного стола и читал какой-то листок. В щель шторы мне не видно было его лица, но только руки, листок и жилет с серебряной цепочкой.

Он долго не отворял на мой звонок, отворил, искусственно зевая, и пояснил, что успел уже заснуть. Но в голосе чувствовалась не вялость дремоты, а дрожь волнения. «Позабыл папиросы», — пояснил и я, в свою очередь не совсем искренне.

Через пять минут я уехал опять. Только теперь были заперты не только все ящики, но и кабинет, и комната пред кабинетом. Мой извозчик обогнал маленького подростка с костылем. Острые глаза уродца пытливо уставились на меня.

Не скрою, я был бы рад сойти с пролетки и надрать ему уши.

VII

Мишутка был, конечно, очень удивлен, когда наутро получил чистую отставку и заявление, что любознательность — хорошая черта, но не всякий на моем месте сдержится и не отхлещет его по щекам в подобном случае. Бедный, он совсем успокоился за ночь!

А к старику мне удалось сходить только дня через два. Ему, следовательно, все было известно. Ни смущения, ни волнения я не заметил в нем. Проклятые выпуклые очки, делающие совершенно каменное лицо!

Но он едва ли ждал меня в этот день. По крайней мере, тогда он, вероятно, позаботился бы убрать письмо с хоро-

шо знакомой мне печатью, лежавшее у него на столе адресом книзу. При моем входе, он взял его и опустил за пазуху. Я поймал на себе его косой, внимательный взгляд. «Вишел ли?» — спросил он себя и ответил себе: «вишел».

Старик был малоразговорчив и как бы пасмурен. Он выжидал и следил, прикрываясь обычной мистической беседой. И для него, конечно, было неожиданностью, когда я вдруг остановил его и сказал:

— Оставим это, и скажите лучше, какой смысл вам следить за мной и писать мне письма?

Он не вздрогнул, не изменился, но и не повернул ко мне лица.

— Я слежу за вами? Пишу вам письма?

— Да, вот одно из тех, какое вы сейчас заготовили и спрятали и которое я получу сегодня или завтра?

— Вы ошибаетесь. Это письмо не к вам, а ко мне, — спокойно ответил он.

— Зачем подсылать хромоногую мальчишку, входить в сделку с моим слугой, выслеживать мои входы и выходы!.. Мне это надоело, — возвысил я голос, — это действует на нервы.

— Вам потом будет самым смешно на это обвинение, — с тем же самообладанием сказал он. — Все это меня совсем не касается. Письмо это от моего «учителя». За паренька я не отвечаю. Письма вы получали и до знакомства со мной... Не я пришел к вам, а вы пришли ко мне, я только исполнял чужую волю...

— Покажите мне только адрес этого письма. Если оно писано не на мое имя, — я поверю вам во всем.

— Письмо писано не на вас, но я вам не покажу его. Надо побеждать праздную пытливость... А беспокоить вас собой я больше не буду. И простите, я должен записать лавочку...

Старик сказал правду. В самом деле, никогда больше он меня «собой не беспокоил». Я его нигде более не встречал, хотя десятки раз после проходил мимо его лавочки. Большой частью она была заперта. Если в ней был свет, у стола вертелся прежний мальчишка со стаканом чая, но никогда

я не видел в ней и хромоногую «пареньку». Может быть, он по-прежнему сидел в мертвом книжном подвале, у коптящей лампочки, но ни разу при мне не показался наружу. Однажды, когда лавка была заперта, я спросил у соседа, торговца готовым платьем, куда делся старик.

— Велел сказывать, что уехал в деревню и там помер, — ответил тот и тупо ухмыльнулся. Было очевидно соглашение и напрасны расспросы. В другой раз я спросил о нем у знакомого букиниста.

— Случается, заходит, — сказал он, — только теперь больно редко. И мы-то почти его не видим. Чудной господин.

— А что?

— Да так...

Письма с нашим разрывом не прекратились. Напротив, первое время они были особенно часты. Мне делались энергичные упреки, что я сам лишил себя «руководителя», и что долго ждать другого. Потом на месяц мне пришлось по своим делам уехать из Петербурга. За время отсутствия не пришло на мое имя ни одного письма. Очевидно, кто следует был вполне осведомлен о моем отъезде. И после уже не восстановилась переписка.

А когда, по значительном антракте, я зашел в рынок, то увидел, что на месте букиниста уже устроился убогий торговец рамками и дешевыми картинами. Только вывесочка «А. Лабзин» по-прежнему висела над входом. Я зашел к торгашу в качестве покупателя и задал ему два-три вопроса. Оказывалось, что он устроился здесь недели две назад. Старый букинист, которого он не видел в лицо, по его словам, умер. Вывеска осталась «зря». «И букиниста-то фамилия была не Лабзин, а как-то по другому, — прибавил рамочник, — а впрочем, Бог его знает...»

Я навел в адресном столе справку о месте жительства А. Лабзина. В самом деле, теперь в Петербурге не было ни одного человека с такой фамилией.

ODOR MORTIS

(Запах смерти)

I

Говорили о русских мистиках и демономанах и, так как дело было почти сплошь в литературной компании, то, естественно вспомнили Лескова, знатока и ценителя мистики, и Тургенева, который всю свою жизнь был западником, жаловался, что его оклеветали перед русской молодежью в отсталости и, однако же, на закате, точно что с ним случилось, почувствовал интерес к таинственному и внес свой очень значительный вклад в область русского мистического рассказа. Кто-то вспомнил о гиппократовом виде, о печати смерти, о которой, между прочим, идет речь в одной из любопытных лесковских новелл, и припомнил нечто по этому поводу и из своего опыта. Когда он кончил, хозяин дома, седеющий литератор, попросил нашего внимания и осведомился, все ли мы слышали, что наряду с гиппократовым видом — *facies hypocratica* — есть еще иной способ распознавания человека, к которому приближается смерть.

— А именно? — осведомились мы.

— Вам ничего не известно про так называемый *odor mortis*?

Латинский термин мы, последние могикане классицизма, конечно, перевели, но о «запахе смерти», как предшественнике человеческого конца, оказывалось, действительно никто из нас не слышал.

— Именем *odor mortis*, — пояснил литератор, — медицина обозначает запах смерти, который некоторые, исключительно чуткие люди, от природы одаренные особым чувством, слышат там, где должно вскоре въявь для всех повеять дыхание смерти. И так как это не есть научное положение, а всего лишь медицинская традиция, стоящая на грани знания и предрассудка и «по курсу» не полагающаяся,

то поэтому и среди медиков нетрудно встретить людей, которые про *odor mortis* даже не слышали, или и слышали, но слух этот отметают, как суеверие. На научную устойчивость этому исключительному явлению претендовать, конечно, и не приходится, но внимания, может быть, оно заслуживает, как заслуживают его те явления прозрений, предчувствий и ясновидения, которые несомненны, хотя и совершенно не поддаются подведению их под железные рамки строгих жрецов науки, в которые они усиливаются замкнуть все мироздание со всеми его странностями и тайнами.

— Это что-то очень любопытное и таинственное, — прошептала литературная дама, слегка зажмуриваясь и полоче усаживаясь на кушетке. — «Есть многое в природе...»

— Да, это любопытно и таинственно, — согласился хозяин, — и лишний раз доказывает, что действительно «есть многое в природе, друг Горацио». Но так как вы, господа, конечно, заметили, что к этой фразе прибегают обыкновенно перед тем, как сказать глупость или наврать с три короба, то лучше было бы нам тени Гамлета не тревожить. Итак, я продолжаю.

Таинственная способность предугадывать, о которой я говорю, конечно, необычна и исключительна; однако, когда одно из иностранных медицинских изданий предприняло по этому поводу опрос врачей, фельдшеров, сиделок и т. п. лиц, могущих быть осведомленными в деле, — в результате получился очень значительный процент положительных показаний. *Odor mortis* был ведом многим, и сообщения оказались чрезвычайно любопытными. Среди врачебного персонала нашлись люди, которые прямо засвидетельствовали, что если их визиты к больным не давали им безусловных мистических уверений в том, что пациент победит болезнь, то наряду с этим, по известным обонятельным впечатлениям, они во многих случаях *с поразительной несомненностью могли предсказывать за несколько дней до смерти больного*, что за его плечами уже стоит и его караулит смерть, холодная и неизбежная. «Когда я слышу этот запах, повергающий меня в глубокое уныние, — писал один

из выдающихся медиков, — я всегда спешу созвать консилиум и, однако, не было случая, чтобы я не оказался дурным пророком».

Одна сиделка рассказала тяжелый случай, которого она была свидетельницей. Ординатор больницы, служивший вместе с нею и обладавший один из всего больничного персонала таинственной способностью, сам тяжело заболел. Однажды, проснувшись ночью, с ужасом почувствовал он в своей комнате, где лежал одинокий, — особенный, характерный запах, значение которого, к сожалению, слишком хорошо понимал. Трепещущей рукой позвонил он сиделку. — «У меня, сестра, странное ощущение. Мне кажется, что в моей комнате какой-то особенный, неприятный запах. Не правда ли, я ошибаюсь? Кажется, комнату сегодня проветривали?» — «Да, доктор, проветривали, но тем страннее, что вы правы... Знаете, это тот запах, который мы оба с вами уловили, когда умирал ваш двоюродный брат...»

Сиделка писала в своем показании, что она спохватилась лишь тогда, когда сказала эти слова и увидела необычайную бледность, какая вдруг залила лицо больного, почувствовавшего весь ужас своего приговора к смерти. Но было уже поздно. Доктор слишком обладал ясностью сознания и заговаривать его успокоительными речами было бесполезно. Обычная мистическая чуткость не обманула его и на этот раз. Через два дня он действительно умер...

— Это становится очень интересно! — воскликнула та же дама, имевшая милое обыкновение перебивать на самом интересном месте. — Но это совсем выходит точно подготовленная лекция и вы — точно профессор.

— Благодарю вас за поощрение, — иронически раскланялся рассказчик. — Но, правду сказать, я этим вопросом специально интересовался и, что было можно, — читал. Натолкнуло же меня на это одно жизненное обстоятельство, благодаря которому я сам имел возможность убедиться, что эта странная способность действительно некоторым присуща...

И, так как было видно, что наш хозяин не прочь рассказать нам об этом жизненном обстоятельстве и глазами

как бы просит у нас внимания, то мы, не дожидаясь его вопроса, в несколько голосов заявили:

— Мы вас слушаем.

II

— Судьба, господа, бросила меня на север, — начал рассказчик, — но, вероятно, вы знаете, что я родом южанин. На юге все мои симпатии, все воспоминания, вся молодость. Даже теперь: серебро в волосах, а все туда тянет. А в те поры, лет двадцать назад, бывало, каждое лето не можешь утерпеть, чтобы не побывать под родными тополями. Тянет, и только и ждешь повода, как бы с хмурого и холодного севера махнуть под милое черниговское небо. У меня там была вся родня, и в городке чуть ли не каждая собака меня знала. Как-то не ездил я на родину года три, и вдруг по зиме получаю письмо от зятя: «Кланяются тебе тот-то и тот-то, а у меня событие. Выдаю Иреночку замуж. Угадай, за кого? — а впрочем, — пишет, — никогда не угадаешь, — за Неулыбина. Рождественский пост скоротаем, а там честным цирком и за свадебку. Приезжай, порадуй племянницу, об этом тебя и сама она просит». А внизу, действительно, приписка Иреночки — какой-то влюбленный вздор, в котором свежий человек ногу сломит: и сама-то она своему счастью не верит, и жених-то у нее — краса, природы совершенство, и тебя, мол, дядя, люблю без памяти, и приезжай непременно и т. д., — словом, такой стиль, от которого холостяка, хотя бы и всего лишь двадцативосьмилетнего, в жар бросает...

Как прочитал я, так в ту же минуту и решил — еду. Землетрясение не помешает! Кругом зима, за окном метелица, на стеклах мороз расписал узоры, а у меня в душе при мысли об Иреночке весной повеяло. Боже мой, да давно ли она была ребенком и бегала в коротеньком платьице, и ее любимым занятием было врасплох для меня поймать мою руку и стащить с моего пальца кольцо своей бессильной ру-

чонкой! И вот уже невеста! Как страшно мчится время, и что же делается с нами, если дети вдруг обращаются в взрослых!

И как я вспомнил Иреночку, так сейчас передо мной предстала и вся атмосфера ее дома. У Иреночки три сестры-красавицы, и еще лет пять назад все они, кроме старшей, были барышнями, и в маленький домик Смысловых, заслоненный малороссийскими тополями, бывало, что ни вечер, как мотыльки на огонек, собирается молодежь, и звенит рояль и смех, и разговоры, а вечер, тихий и темный, незаметно подкрался, и в окна ползет нежащая и томящая теплота... Всегда у них было весело, шумно, людно; пожилые чувствовали себя здесь моложе, и в доме царила атмосфера вечной влюбленности. Выходила замуж одна барышня, оставались другие, и жизнь по-прежнему кружилась колесом, и были те же горелки, серенады, поздние вечера, таинственные пары в саду и огонь перекрестных остроумий и шуток. Бывают такие благословенные семьи. На моих глазах уходили сестры и вили свои гнезда и, однако, и после замужества они обыкновенно оставались как-то особенно верны дому. Устраивались они тут же, в городе, и только с положения хозяек переходили на положение постоянных гостей.

Потянуло меня туда необыкновенно. Что там теперь, когда одна Иреночка хозяйничает, да уж и та заневестилась? Не подходит ли конец царству веселья в уютном смысловском доме? Грустно, а ведь, пожалуй, упорхнет от стариков шаловливая радость вместе с последней дочкой, которую я три года назад покинул еще совсем девочкой-вострушкой.

Жениха Иреночки Неулыбина я тоже хорошо знал. Он был младше меня курсом по киевскому университету, и когда-то мы были с ним настолько близки, что даже установили между собой *ты*. Натура это была даровитая и незаурядная, и в студенческие годы весь он сводился к каким-то для непривычного к нему человека странным порывам и метаниям. То вдруг в какую-нибудь отрасль науки ударится и все остальное швырнет в сторону, — и лекции забросит, и в университет по неделям не кажет носа, то увлечется скрип-

кой, то засядет дома и пишет повесть. Сегодня от него уходишь, — он весь полон гражданских чувств, читает наизусть Некрасова, и на глазах у него слезы, а через неделю приходишь, — он весь в глине и лепит Рубинштейна или Сократа. А там глядишь — подошла полоса мистицизма, — и он сидит с утра до вечера за латинской галиматьей какого-нибудь Преториуса и силится проникнуть в тайны хиромантии. К слову сказать, эта мистическая жилка в нем билась сильно, засеив прочнее скрипок и скульптурных тяготений, и бывало, если наедет в город какой-нибудь «хиромантик с дозволения начальства» или что-либо в этом роде, Сергей один из первых ему визит наносит — «с научными», как он выражался, целями.

По окончании курса и возвращении в родной город, мы как-то вдруг охладели друг к другу. Бог знает, почему это сряду и сплошь случается, по-видимому, без всякой причины. Точно отскочили какие-то шестеренки, которыми люди друг друга затрагивали, и ослабела сила притяжения. Обстоятельства не поддержали распадающейся близости. Он остался в городке, заняв должность учителя в местной гимназии, я же променял родные места на чужбину и вы, конечно, знаете старую истину: «Уж тот скажи любви конец, кто на два года в даль уедет...»

Но, во всяком случае, чувства у меня к нему сохранились дружеские и, откровенно говоря, ни разу сожаления за Иреночку не шевельнулись в моей душе. Пошли им Бог совет да любовь! Лучшего не хочу и не знаю. Такой сумеет полюбить, а полюбит — зря не разлюбит.

Надо вам прибавить, что в дни сближения я был моим другом посвящен во многое и знал, что в отношениях к женщине он был всегда благороден и, если позволите так выразиться, — рыцарствен...

III

Литераторство, как вам известно, имеет свои тяготы, но

и свои выгоды. Не всегда сыт, зато всегда волен, как птица. Дня через два по получении известия я уже сидел в вагоне 3-го класса, интервьюировал, чтоб не терять времени, мужичков-соседей и считал остающиеся станции до С. Тридцать, двадцать, десять... а вот и знакомый остроконечный купол подгородной монастырской церкви!..

Изменилась Иреночка, выросла, похорошела. Что же, господа, может быть лучше девушки-невесты, которая любит и счастлива, и сама своего девственного счастья стыдится! Все домашние на нее смотрят, не налюбуются, и она действительно прекрасна в своем молодом чувстве и неведении своей обаятельности. И я как увидел ее, не смог скрыть восторга. Смотрю и думаю: вот про кого воистину можно сказать, как сказано в библии про Авессалома, — от ног до последнего волоска на голове нет в ней недостатка! Бросилась на шею, смеется.

— Поздравь меня, дядя. О, кабы ты знал, как я счастлива!

— Уж будто так, дорогая? Не преувеличиваешь ли ты?

— Ах, милый дядя, моего счастья ни в сказке сказать, ни пером описать.

И дальше, что ни слово — все о своем Сергее Владимировиче. Как испорченная шарманка, что ни начнет, все сведет на «Стрелочка», так и у нее точно мысль сплошь уперлась в Неулыбина. Начнет об одном, — «а Сергей Владимирович по этому поводу сказал то-то», — и все, что ни сказал, кажется ей гениальным, умным, необыкновенным, что нужно повторять с сияющим лицом. Заговорили о ком-нибудь, — «а у Сергея Владимировича не такое лицо, не такой голос, не такой галстук, а вот такой-то и такой-то». Увидела в прихожей калоши с буквой Н, старые калоши, и задок стоптан, — а у ней, смотришь, сердце затрепетало, как вспугнутая птица. Прекомичнейшая пора, господа, а только пошли ее Бог испытать каждой, как говорил Байрон, смотрящейся в зеркало, а нам, старикам, почаще ее со стороны наблюдать...

Я не буду передавать вам подробно, что я застал на родине. Застал, что ожидал. Это был точно последний взмах

веселья в смысловском доме, и все как будто ради такого случая и из любви к Иреночке sprыснули себя живой водой. Молодежь всех калибров по-прежнему жужжит в доме, все полны радостной праздничной тревогой, возьтятся с костюмами и масками, друг к другу ходят показываться и, благо молоды, всякое слово рождает смех и веселье. Скажу одно: если бы не те события, которыми завершилась эта моя поездка на свадьбу, эти дни, ничем не омраченные, остались бы в моей памяти светлым оазисом...

Зима в тот год была чудная, снежная и ровная. В крещенский сочельник мы, молодежь, подбили стариков ехать на двух тройках ко всенощной в пригородный монастырь. Дорога дальняя, через весь городок; мороз щиплет щеки, ветер догоняет тройку и шаловливо заигрывает с молодежью. В тройке тепло, как в юрте, только лицу холодно встречь ветру, а смех звенит так, что даже стыдно, — точно мы не на богомолье, а на пикник едем.

На обратном пути обменялись мы для разнообразия местами, и мне пришлось сесть вместе с Иреночкой и Неулыбиным. От обоих пышет весельем, и оба они друг на друга не могут смотреть, не улыбаясь. Иреночку Неулыбин звал Сиреночкой, и, точно по молчаливому взаимному уговору, никто уж этим именем ее не называл, чтобы не нарушать привилегии жениха.

— Сиреночка, вы сели против ветра. Садитесь на мое место. Смотрите, как он вам прическу растрепал...

— А вы меня и к ветру ревнуете?

И смеется, и кутается в свою ротонду, и прячет разгоревшееся лицо от поцелуев Морозки...

Помню, как сейчас, этот вечер и все следующие дни. Приехали мы и согрелись за чаем, и уже поздно вечером, собираюсь я идти в свой флигель. Вижу, в холодных сенцах у керосиновой лампочки стоит Иреночка с подругой. Щеки горят, на плечи легкий платок накинут.

— Все еще не спишь, стрекоза?

— О, дядя, нет, — мы еще с Катенькой гадать будем.

— Катенька-то, — говорю ей, — пусть погадает, а твоя судьба разгадана.

Она на меня, помню, шаловливым взглядом смотрит, а я ей отвечаю из Некрасова:

— «Что гадать? — ты влюблена без меры и судьбы своей ты не уйдешь. Я могу сказать и без гаданья: если сердце есть в его груди, — ждут тебя, быть может, испытанья, — но и счастье будет впереди...» И за это счастье я спокоен, Иреночка, но только напрасно ты рискуешь простудой.

— Я еще и на двор выбегу, дядя, и за воротами слушать буду «людскую мольвь и конский топ».

— Вот это уж и совсем неумно.

Девушка засмеялась.

— Я, — говорит, — дядя, и так уж простудилась и поездкой простуды прибавила. Попробуй, какой у меня горячий лоб!

Приложила мой руку к своему лбу. Действительно, жарок. Но только что я вернулся к своим нравоучениям, она мне торопливо ответила:

— Сном пройдет, милый дядя.

И со смехом выпорхнула из сеней с своей подружкой.

IV

В Крещенье я с утра уехал от Смысловых, — нужно было кой с кем повидаться, — а возвратившись вечером, узнал, что Иреночка расхворалась. К чаю утром вышла она совсем больная, а за обедом даже и не показалась. Пропал аппетит, отяжелела голова, заболело горло. Нагадала себе беду. Призналась матери, что ей уж давно не по себе, и что действительно ездила она на монастырскую прогулку уже с больным горлом и дорогой чувствовала озноб, да жертвовать таким большим удовольствием не нашла в себе силы.

— Как же, мама, ведь это такое огромное счастье!...

Напоили ее малиной и всевозможными домашними средствами и уложили в постель, окружив склянками полосканий. Послали и за домашним врачом, но он, оказалось, уе-

хал на охоту и должен был вернуться домой только на другой день. Заглянул я на минуту к больной. Лежит, видимо, вся в жару, глаза впали и лихорадочно блестят. Тоненькая ручка лежит на одеяле — бледнее мрамора. Никогда мне этой ручки не забыть!..

— Ах, дядя, как мне плохо. Все для меня безразлично, и как мучительно стреляет в виски!..

И голос не ее — какой-то подавленный, словно охрипший. Помню, что-то я сказал ей насчет Сергея Владимировича: «Не валяйся, а то рассердится». Думаю, — улыбнется. Нет, не улыбнулась. Точно и в самом деле ей все опостыдело...

Ушел я с тяжелым чувством, уступив место одной из ее сестер, вошедшей с Неулыбиным. За день устал я и, не раздеваясь, прилег слегка отдохнуть в своей комнате.

Не знаю, сколько времени прошло, но чувствую, что уже начинает меня одолевать и вот-вот сейчас одолеет дрема. Окутывает голову туман, и только где-то далеко-далеко догорает последняя искорка сознания действительности. И вдруг в этом полусне-полубодрствовании с закрытыми глазами слышу, точнее чувствую, что колыхнулась над дверью портьера, и кто-то вошел, и мне его вхождение страшно, потому что этот кто-то пришел не вовремя и что-то мне сейчас скажет ужасное и новое.

Смахнул я дрему, вскинул глаза — Неулыбин! И, еще не совсем возвратившись к действительности, спрашиваю:

— Это ты, Сергей?

— Это я.

И хоть теперь я уже не сплю, однако, никак не могу от решиться от своего дремотного убеждения, что он мне что-то страшное скажет, и в голосе его улавливаю необычные нотки.

— Ты, Диодор, еще не спишь?

— Нет, так валяюсь. Зажги свечу и садись, — гость будешь.

Он пошарил спичку, зажег свечу, сел у стола и сжал голову руками.

— Какой ужас!..

— Что такое? про что ты говоришь, Сергей?..

— Как это бессмысленно, нелепо, несправедливо!.. Она *не должна* умереть! Этого не может быть!..

Он сделал шаг ко мне, уже поднявшемуся и севшему на постели, и взял меня за руку.

— Ты даешь мне слово, что никому из здешних не скажешь, что я тебе говорю? *Иреночка умрет*.

— Ты с ума сошел!

Я почувствовал, как мурашки пробежали у меня по корням волос. Все во мне настолько протестовало против этой страшной мысли, что я вдруг ощутил в себе прилив злобы против Неулыбина и почти закричал:

— С родными так не шутят! К черту!..

Он снова взял мою руку и молчаливым движением своей руки предложил сесть к столу. Только теперь я мог рассмотреть, как он был страшно бледен. Рука, которую он положил на стол, вздрагивала в нервном трепете.

— Не оскорбляй меня. Верь, что Иреночка мне так же дорога, как и тебе. И убитого не бьют. Это ужасно, но — она умрет.

V

И здесь, господа, в этот ужасный вечер, в полумраке комнаты, слегка освещенной колеблющимся светом свечи, я впервые услышал про «*odor mortis*».

То, что он мне говорил, было нескладно и несвязно. Я не могу воспроизвести его речи, отрывистой и трепетной, но сумею верно передать ее сущность. Только сейчас он был у Иреночки и вышел от нее в полном унынии. Ах, этот проклятый, никогда не обманывающий запах!... Какие его свойства, — он не мог бы сказать определенно. Это что-то напоминающее сладковатую гниль, неприятную и тяжелую, — запах намоченного полотна или белого хлеба с оттенком затхлости. Он резко щекочет обоняние, внушает неопределенный страх и наполняет сердце тоской безнадежности.

Когда он был еще ребенком и фельдшер-отец посылал его вечером разносить термометры больным, — он уже тогда безошибочно указывал отцу, кто был безнадежен. Этот запах встречал его при входе в больничную палату, и по степени его напряженности у той или другой постели он угадывал кандидата смерти.

Отец звал его пророком и удивлялся странным случаям. Но случайности были слишком часты и повторялись с научной точностью. Он предсказывал смерть, когда были все шансы на выздоровление. Из комнат выздоравливающих больных, от своих родных и знакомых он уходил, унося в душе мучительный гнет сознания какой-то виновности. Малютку своей сестры он взял на руки совершенно здоровой и с ужасом почувствовал знакомый, не обманывающий запах, и — она умерла. В бытность в университете он не раз убеждался в том, что его странная способность в нем не исчезла.

Через Киев проезжал психиатр, всероссийская знаменитость. Неулыбин заявился к нему, рассказал о своей странности. Знаменитость заинтересовалась субъектом с «обонятельной идиосинкразией», но нашла, что это — вненаучное явление, и удивилась лишь тому, что у юноши, по всем видимостям, не могло быть наследственного психоза, как основы той или иной психологической уродливости. В объяснение возможности явления психиатр сослался на существующую, но требующую аргументации теорию, что процесс трупного разложения организма, может быть, действительно начинается иногда еще при жизни, за день, за два до того, что мы называем смертью... и мирно проследовал из Киева.

Мне остается досказать немного, и я буду краток и пренебрегу эффектами. Неулыбин и на этот раз оказался прав. На третий день после Крещения — Иреночка умерла. Доктор, приехавший слишком поздно, констатировал дифтерит. Медицина была уже бессильна, и паралич сердца неизбежен. Я избавлю вас от тяжелых подробностей конца этой прекрасной, так пышно распускавшейся жизни. С того времени двадцать раз цвели цветы и падал снег, но вос-

поминания эти до сих пор мучительны. Что мы пережили, легко представит каждый, потому что, — увы! — все мы богаты печальным опытом. Скажу одно: не придумать муки беспощаднее, чем мука потери родственной души в прекрасной оболочке девушки, только что расцветшей для любви и как бы созданной для того, чтобы тем, кому на земле темно, светить лучами своего счастья. Но эта мука становится адской пыткой, когда это, вчера еще прекрасное тело сегодня является предметом ужаса, и от него с трепетом сторонится все живое и желающее жить...

VI

— Может быть, вам любопытно узнать, не встречался ли я с Неулыбиным после?

Нет, не встречался. Я скоро уехал из С., — там мне было слишком тяжело. Через год и Неулыбин покинул город. Он остался холостым и до смерти носил обручальное кольцо Иреночки, которое было уже заказано, но которое ей не пришлось одеть. Потом он был инспектором народных училищ и лет пять-шесть тому назад умер. Через знакомых я наводил справку об его последних днях. Мне было любопытно, — дала ли почувствовать себя на этот раз его исключительная способность? Я намекнул об этом в письме, но мне ответили незнанием. Умер он от чахотки, и скорый конец его можно было предвидеть...

За два дня до смерти он попросил перевезти себя в больницу и составил новое завещание. Может быть, он действительно уже видел смерть у своего изголовья. Но это могло быть и простой случайностью. И дай Бог! Сознание неизбежности перехода через день или два за таинственную грань земли, вероятно, было бы для него бесконечно мучительно...



«ПРИЗОР ОЧЕС»

Я ехал туда, куда народное чувство гнало тысячи и сотни тысяч на предстоящий «пир веры».

Она поднималась отовсюду, с людной середины, с далеких окраин, скудная, нищая, недужная Русь, и тянула к этой точке родины — на усталых ногах, в липовых лаптях, деревянных костылях, на самодельных, точно игрушечных тачках о трех колесах, — на поклон своему «сермяжному святому». На арзамасском вокзале меня ошеломило и потрясло зрелище этой убогой и немощной Руси. Вся огромная, вновь выстроенная платформа вокзала захлебнулась толпой. Точно схлынуло восемнадцать веков, и предо мной была библейская Вифезда, куда собирались от восток и запад ждущие ангела и чающие движения воды.

Где таились они до сих пор, эти безногие, безрукие, скорченные человеческие обрубки, сохранившие голову на остатке туловища, лю-



ди-змеи, узкие и выгнутые в сторону, человеки-козлы с широким лбом, на который нелепо выскочил единственный глаз, бабы-кликуши с искривленными, коричневыми лицами, юродивые в огромных четырехугольных шапках, служивших кому-то прежде футляром для камилавки или ска тулкой! Точно вдруг раскрыла свою пасть долина Энномская и выплюнула всех, кого копила веками от сложения мира.

Все это темное, нищее, больное, сожженное солнцем, покрытое пылью, жалкое и страшное стонало, мычало, просило, провожало свежего человека неотвязчивым, прилипающим взглядом, тянуло к нему ужасные обнаженные члены, распахивало мясо своей груди в ранах, пятнах и язвах.

Чудилось, что под этим, вновь устроенным помостом неокрашенного, еще свежее-благоуханного дерева скопилось зловонное испарение, в котором трудно дышать и от которого кружится голова. С непривычки хотелось бежать без оглядки из этого царства живых теней, протянувших измученные тела на грязном полу платформы и жадно прислонивших изнемогшие спины к вокзальным столбам.

Нельзя было отогнать пугливой мысли, как бы это человеческое мясо, точащее кровь и гной, не коснулось вашей руки, и только усталые и обозленные стражники, не брезгуя, сновали в толпе, расталкивали ее и за жалкие холодные культияпки выводили из нее шумевших.

Сколько на свете страдания и ужаса и горя! И увидев это воочию, мы все чувствовали себя не вправе спокойно обедать, спать, ехать в вагоне с обычными удобствами.

II

Я не умею спать ночей в поезде, и моему утомленному трехсуточным бдением мозгу все это казалось кошмарным, как сон ведьмы после шабаша.

Было то состояние, когда мозг утрачивает привычное деление времени на грани дней. День, начавшийся двое суток назад, кажется длинным и содержательным без конца. Вместо «вчера» стоит в уме какая-то глубокая черная бездна, без делений и граней. Было вчера и третьего дня для других, — для тебя вот уже давно стоит одно длинное, бесформенное, мистическое Сегодня.

Как я был рад, когда вырвался из этого Лурда, и предомною потянулась длинная, бесконечная, прекрасная июньская степь!

Нигде не чувствуешь в такой мере и силе сладкого и дурманного обмана жизни, как в степи. Путь вьется, гремит под дугой колокольчик, и на безбрежное пространство кругом излилось море степи. Из солнечной она становится темной, и чернеет красный ситец, которым подбит верх моей кибитки.

К монотонному перезвону бубенчиков точно примешивается собачий лай. Вслушиваюсь. Ничего нет, — шалит непривычное к тишине ухо. Кто-то сбоку догоняет кибитку. Но нет никого. Это только мельница, и стоит неподвижно. Вдали идут две женщины. Откуда они взялись здесь в белых платьях причастниц?

Но и это опять обман глаза, превратившего в женщин контуры двух далеких белых зданий какого-то монастырька в жидкой зелени. Завиднелся издали странник. Кажется, видишь его размахивающие руки. Но растет и растет странник; и вот он уже не странник, а опять ветряная мельница.

И вот вечер. Степь уже утомила. Впечатления ее потускнели. Уже все видел, что она дает и обещает. Все растет и растет чувство неясной тоски, так отличающей русскую душу...

На этих впечатлениях отдыхал глаз, но плохо отдыхало тело. Телега подпрыгивала на каждом бугре.

И утром, и вечером по краям большой дороги тянулся народ, с котомками и посохами. Шли глубокие старики, старые бабы, молодухи, тащили детей, грудных и подростков. Впрягшиеся вместо лошадей в маленькие повозки увечных, мужья и жены, братья и сестры волокли своих убогих.

III

— Процвела есть пустыня, яко крин! — сказал мой спутник, арзамасский фельдшер, командированный земством на праздник. С ним вместе мы подрядили возницу и делили все невзгоды пути, — утренний зной и ночную свежесть. — Тут, небось, придется им и заночевать. А, знаете, в сказаниях пишут, будто «он» предсказал это своим монашкам. «Увидите,— говорит,— детки мои, пасху прежде пасхи».

«Он» — здесь было понятно всем. Все кругом наполнило, залило, покорило имя праведника. Здесь было его — свое и безраздельное царство. Я заметил, что, чем ближе мы подъезжали, тем решительнее даже обычные выражения «Спаси Бог», «помогай Бог» сменялись другими, где уже поминался «он». Во всех божницах стоял его образ. И, упоминая его, не называли его имени. Говорили «угодник», «батюшка», «он» — и всем было ясно...

— Еду я и думаю, — продолжал фельдшер, — вот вся эта братия ищет чуда. И думаю так, — будет дадено ей чудо. Знаменитый писатель Эмиль Золя в своем романе «Лурд», который я брал у доктора, г-на Солончака, против этого ничего не имеет, будучи француз и материалист. Не знаю, как вы, но я, хотя и принадлежу к медицинской науке, верю в Бога и хожу в церковь. Однако, не скрою, иногда смущаюсь мыслями. И вот, хоть бы сейчас. Смотрю я на них и, прости меня Господи, вижу, — не могут все исцелиться. Но и положим даже, все исцелились и сожгли свои костыли, — сотни и тысячи. А будет хоть один такой из миллионов, какой-нибудь Иван Петрович из деревни Черемницы, который поползет обратно в своей тачке по этой самой дорожке, по которой он теперь едет в ликовании сердца. Позвольте вас спросить, допускаете вы такой случай?

— Ну, конечно.

IV

—Так вот, позвольте вас спросить, почему так? Почему? (фельдшер совсем приблизил свое лицо к моему и уставился на меня острыми глазками). Ежели бы я в амбулатории врача Солончака, арзамасского уезда, в селе Хватовке, принял бы 30 пациентов и снабдил лекарствами, а тридцать первому сказал: «Иди, голубь, нет у меня лекарства», — позвольте узнать, похвалил бы меня доктор?

Что я мог бы ответить ему? Что я не Бог, а он не Иов? Но тяжелая усталость сдавливала уста. Не хотелось говорить. Да и к чему вел бы этот разговор двух дождевых червяков, случайно столкнувшихся на дороге и пустившихся судить о солнце и радуге!

Я предложил ему философствовать и обещал его слушать, но сам отказался от реплик и закрыл глаза.

— Что так? Али устали?

— Да, я четвертый день еду.

Под потемневшим небом фигуры, тянувшиеся по краю дороги, стали неясными и мутными, точно это были не люди, а плохо вырезанные из серой бумаги силуэты. Уже мучительно хотелось спать, и ныла спина, поясница и отсиженные ноги.

На двух третях пути должна была быть перемычка, — чуть не единственный постоянный двор в небольшом селе. Давно уже страстно мечтал я о нем, тщетно всматриваясь в каждое дерево и каждый куст, вылезавший впереди. «Теперь скоро», которым меня долго утешал возница, уже перестало утешать. Фельдшер не то обиделся, не то сам устал и смежил уста.

— А вот она и Заимка! — весело воскликнул он, когда в стороне во тьме заблестели огоньки. — Придется стоять, по меньшей мере, часа четыре. Отдыхайте на здоровье.

Лошади обрадовались и побежали веселее. Еще несколько минут, и перед мордами их запрыгали, как резиновые, три-четыре собаки. Черная плоская хата была перед нами. Тьма точно зевнула светящимся пятном двери. Кто-то выныр-

нул из света в тьму и, стоя, опять невидимый, на крыльце, учил нашего мужика, как завернуть лошадь.

Это было совсем как в романе Загоскина или в забытой повести Нарезного, и прелесть этого ночного заезда в степной постоялый двор столичный человек мог чувствовать даже сквозь жестокую тяготу утомления.

V

Изба напоминала вокзал третьего класса, где столпился народ перед отходом поезда.

Протянувшись в углу, на лавке, спал тучный священник с женой и взрослой дочкой, очевидно, самый почтенный, а, может быть, и просто самый ранний из гостей. Рядом на лавках, на табуретах, на приступке у печки, даже на полу, сидя, полулежа, согнувшись калачиком, расположился разный люд, преимущественно купеческой складки. Кто-то, очевидно, больной, поохивал на полатах, и трудно было понять, мужчина это или старая женщина.

Мы вымылись, закусили и поторопились занять места; где еще можно было прислониться к стене и задремать? Несмотря на спящих, много голосов говорило враз. Кто-то, может быть, по адресу меня и фельдшера, распространялся о грехе пить молоко в пост. Кто-то старательно выяснял самый короткий путь на Понетаевку.

Я должен был несколько времени втянуться в эту обстановку, чтобы различить среди голосов один, журчащий покойно и ровно и явно что-то рассказывавший. Исходил он из-за большой печи, за выступом которой была, видимо, одна из самых уютных лавок.

Голос был мужской, но мягкий до женского оттенка, тот сладенький, «елейный» голос, которым говорят собирающие на масло монахи, боголюбивые страннички, лавочные сидельцы средних губерний из тех, что в будни умеют надуть всякого, обласкав и приветив, а по праздникам подтягивают ирмосы на клиросе.

Что он рассказывал, мне поначалу представлялось неясным, но это было, по-видимому, что-то ударающее в мистический стиль легенды. Повесть шла о каком-то случае в Касимове, в доме некоего почтенного человека, которого рассказчик хорошо знал. Человек содержал обоз извозчиков и, между прочим, имел дело с одним мужиком, ходившим за десятского.

Однажды хозяин с ним повздорил и отказал ему. Десятский озлобился, «как дьявол», и, уходя, сказал, что хозяин его «попомнит». «И этак на него посмотрел». С той поры долгое время, как ночь, так у хозяина звонил дворовый звонок, протянутый через весь двор к его дому.

— Все это слышат, собаки бегут по двору, как бешеные, но — подойдут с фонарем к воротам, никого нет. Было так раз и десять раз, а потом этому и счет потеряли.

— Да дай послушать! — недовольно окрикнул чей-то грубоватый и уверенный голос мужичонку, все еще не кончившего с путем на Понетаевку, и следом бросил, очевидно, по адресу рассказчика благосклонное:

— Ты малость погромче!

— С превеликою охотою, любимец Христов! — ответил елеинный голос, уже не оставляя сомнения, что это кто-то из церковных.

VI

Окрик подействовал, словно начальнический приказ. В помещении вдруг стало тихо. Точно смущенный молчанием, сморившийся батюшка на минуту всхрипнул беспокойно и громко и опять задышал ровно и мерно.

— Отслужил хозяин молебен, — журчал голосок, — нет, не проходит. Около полночи, — не могу вам доподлинно объяснить, в самые ли двенадцать часов, — дерг кто-то в звонок. Истинное сатанино наваждение!

— Отвод глаз! — сказал кто-то басом с полатей. — Ничего такого не было, а отведи человеку глаза, — и не то по-

чувствует.

— Не могу спорить, милостивый господин, может быть, и призор очес. Однако, позвольте сказать, мало того, что хозяин сей звон слышал, но и жена его, и присные, и даже, сказываю вам, и собаки полошатася и бегут.

— От призора очес и надо было молитву читать, — не иначе, — авторитетно подтвердил бас. — Спроси вон хошь батюшку.

— Батюшка изволят спать, — возразил елейный голос, — но я так полагаю, что если тут надо было молитвой брать, то не иначе, как из требника Петра Могилы службу править.

— Это какая же такая могила? — спросил купец, установивший тишину.

— Петр Могила был митрополит в Киеве и отпечатал этот требник «Эвхологион» во святой великой чудотворной киевской лавре. Надо полагать, при Алексее Михайловиче, коли не раньше. Превеликая это ныне редкость, и любая старообрядческая община за него сотен шесть соберет с великой радостью. Только все эти книги наперечет, и уж больно мало их до нашего дня уцелело.

— Чего же ее тогда не переиздадут? — спросил фельдшер, которого я уже считал заснувшим.

VII

— Потому, любимец Христов, не переиздадут, что хотя и не отречена, но запрещена та книга. На архиерейском соборе положили ее боле не печатать, — так полагаю, потому, что не след ее всякому человеку видеть. Есть ее главная сила в том, что содержит она молитвы об избавлении от обуравания и насилия духов нечистых и молитвы заклинательные на всякия чародеяния и обавания человеков и скотов, и домов. И такова сила этих молитв, что кто их чтет с великим дерзновением, — не может тому бесная сила противостоять. И где их чтут, изыдет оттоль всяк бес, змеевид-

ный и звероличный, яко пар, или яко птица, и Ношеглагольник, и Домоволшебник, и привиденный демон, и всяк бес утренний и полуденный, и полнощный, — от моря и от реки, от земли и от кладезя, от дубравы и от водопутя, и от гроба идольского, и от покрова банного.

— Вы, надо полагать, эту книгу видели? — спросил купец почтительнее и перейдя на «вы».

— Сподобил Господь. Как был в Стародубе, у одного человека старой веры видел. Большая такая книга, как наш Типикон или Триодь Постная. И картину там видел, как Господь наш гергесинских бесов в стадо свиное изгоняет. Токмо в этой церковной книге есть изображение бесной силы, — нигде боле! Сказывали мне раньше, будто есть тут и заклинательная молитва на разбойного человека в степи. Кто сию молитву знает, тот злодея, на него нападшего, может бесчувственным столбом во едино мгновение сотворить. Одначе, не совсем так вышло.

— Нету? — спросил бас с полатей.

— Нет, — с грустью в голосе ответил говоривший. — Все сказано, — и что с некрещеными младенцами будет, как они на особое некое преселены будет место, где ниже утешение, ниже муку потерпят, и куда душа сряду по смерти идет, и как себе братана сотворить, крестом обменявшись, — а этого нет. Надо полагать, не может быть такой молитвы!..

VIII

Слышно было, как рассказчик вздохнул, точно жалея о том, что есть предел и чуду молитвы. Или мне показалось, или в самом деле точно тихий вздох пронесся и над всеми остальными. Рассказчик передохнул и продолжал:

— Так вот, отцы и благодетели, думаю, что ежели бы по сему требнику молитвы прочесть, — сняло бы наваждение. Но где ж его добудешь, коли, может, он только в городе Санкт-Петербурге, в Государя Императора публичной библиотеке, как некое многоценное сокровище, хранится? По

малом времени, однако, перестали звонки. Но так скажу, что и по сем бывшее не лучше вышло. Это уже в мою бытность произошло, и нечто здесь и мое око видело.

Только что человек покой обрел, приходит к нему раз жена и говорить: «Посмотри-ка, — говорит, — что-то с нашим малым сыном неладное делается. Ночей, — говорит, — малец не спит». А ребенок несмышленочек, по первому году шел и даже еще и младенческих слов не говорил... Стали за ним примечать, — что за напасть! Днем малое дитя на час-другой забудется, а как ночь, — лежит, глазки открыты. Подойдешь к нему, кроткой улыбнется улыбкой и опять в молчании в потолок смотрит. Думали поначалу, — нездоров, но все у него чин чином, не плачет, не жалуется, не охает. Токмо тает с каждым днем, что деревцо малое раненое, так что смотреть силы нету. Смучилась мать, потому от жалости и сама она всю ночь подле сидит и маетой мается, а днем слезы льет, да людям печалится. И отец извелся.

Бывалые люди говорят: «не иначе, как кто сглазил», а уж отцу с матерью давно то ясно, и кто спортил, ведомо. Какова же, христолюбцы, может быть злоба человеческая! Пускай бы на врага своего порчу навел, а за что же малолетнее дитя страдальчествует?

Маковым семенем его поили, от фельдшера спящих порошков брали,— не спать малое дитя. Как был я у них близким человеком, показали мне младенца. «Посмотри, — говорят, Федор», — это я Федор-то. Посмотрел и чуть сам не восплакал. Исхудало дитя, как былиночка, а глаза такие большие, что у взрослого, потому много он уже в бессонные ночи своей ангельской думы передумал. Спортили человека ни за грош, ни за копейку!

IX

— Долго так было, только раз приехал к моему хозяину из пригорода шерстобит.

«Это, — говорит, — не иначе, как сглаз, и дело это плевое, только надо вам одного знакомого татарина позвать. Такая ему сила дадена, чтобы порчу сымать и зубную скорбь заговаривать». Сам я, милостивцы и благодетели, за этим татаринном ездил, — недалече под Касимовым жил. Татарин, как татарин. Голова бритая и в ермолке, лицом скуласт, на слова вельми не щедр. Жил в конуре невеликой, а кормился куплей да продажей старья разного. Спрашиваю его, может ли помочь. «Я, — говорит, — наперед этого сказать не могу, а Бог не без милости живет, — поедем». Поехали. Всю дорогу почти молчком ехали. Он про свое думает, а я про то, как это всякий человек своим богом живет, и ладно выходит.



Как приехали, посмотрел он младенца, чаю с хозяйевыми испил. Потом просит его одного в комнате оставить. «Мне, — говорит, — теперь помолиться надо». Будем так говорить, недолго молился, — всего каких-нибудь минут пять. «Дайте мне, — говорит, — теперь ножик». Переглянулись, одначе, дали ему. «Покажите мне, — говорит, — на чем ваше дите спит». Взял его тюфячок, прорезал, запустил туда руку. Смотрим, — ухмыляется. «Вот оно!» — говорит. И смотрим, — у него в руках клочок рыжей некой шерсти, как ежели бы от пса кудластого. «Оно, — говорит, — самое и есть. За-

топите, — говорит, — печку», и, как только полено загорелось, своей рукой этот клок в огонь бросил. «Ну, — говорит, — теперь с Богом, живите да не тужите, а коли занадобится старую шубу продать, али новую шапку купить, так и меня не забывайте. А дите больше молоком пойте».

Что ж бы вы думали, Христовы любимцы? С той самой ночи стал младенец спать за троих, недельки через две тощенькие щеки заалели, а теперича прешустрый из него мальчонка вышел и прездоровый, да, правду сказать, и не в кого ему хворым быть. Вся семья на диво здоровая...

Х

Я ясно помню весь рассказ до этого мгновенья, но уже за спиной моей стоял сон, вырывающий действительность из сознания людей, как вырывает человек листы из книги.

Я заснул вдруг и сладко, как только замолк журчащий голосок рассказчика, и спал так, сидя и упершись спиной в угол, целых три часа, пока на бесшумных крыльях летела над степью черная ночь.

Очнувшись, я увидел перед собою возницу. Он говорил, что лошади отдохнули, уже пятый час утра, и пора ехать.

Фельдшер стоял на крыльце с полотенцем, очевидно, только что вымывшийся, потягивался со сна и почесывал под мышкой. Степь, освеженная ночью, казалась необыкновенно тихой, чистой и святой. Ветер ночи свеял с нее весь пыльный след человека.

Благообразный, ветхозаветного склада старичок в изношенной, но чистой рубахе и портах показывал фельдшеру на черневший вдалеке лес и говорил:

— И лес у нас, ваша милость, особенный. В нем еще медведь не перевелся. Завет такой положил батюшка: не бить зверя в евоном лесу. И не бьют его. И так скажем, что не слышать что-то, чтоб и медведь кого тронул. Тридцать лет здесь живу, — не слышал. Потому, хошь он и зверь, а чувствует...

Я залез за фельдшером в кибитку, и мы тронулись, с каждой минутой приближаясь к тому заветному уголку, который всем здесь казался ближе к небу, и к которому влеклись сердца всех, в земной тоске взалкавших светлого божьего чуда.

ПОД ЗВЕЗДАМИ

I

Если принять во внимание, что перед пасхальной ночью, с заходом солнца, все черти становятся необычайно злы, и еще в прошлом году наша Дуня в этот час видела беса, перекинувшегося в черную собаку, то совершенно понятно, что, когда я вступаю в преддверие кладбищенской колокольни, где темно, как в дантовом аде, мое восьмилетнее сердце дрожит, как у взятого в руки дикого котенка.

Я вынимаю из кармана спички и зажигаю церковный огарок в ручном фонаре. Тьма разбегается по углам, и в каменной комнате, похожей на каземат тюрьмы, становится светло, по крайней мере, настолько, чтобы видеть, что никакой нечисти здесь нет. Я хочу идти с фонарем вперед, чтобы светить Артему на лестнице, но спохватываюсь, что ему решительно все равно — идти впереди или сзади.

Для слепых глаз старого Артема здесь и сейчас темно, как везде, как было для меня несколько минут назад. Все, кто у нас знает Артема, помнят его уже слепым.

Но, хотя в глазах старика вечная ночь, он чувствует себя здесь лучше меня. Когда он отпирает следующую дверь, его ключ попадает в скважину, как у зрячего. Все его движения спокойны, уверенны и чужды той растерянности, какая выдает слепого в непривычном месте. Его правая рука протянута вперед, но скорее машинально, потому что тут старому звонарю, очевидно, знакомы каждая ступенька, каждый кирпич.

— Ну, теперь, хлопчик, подыми ворот, — говорит Артем, — наверху может быть ветер, — простудишься.

Я нахлобучиваю шапку, поднимаю ворот и пропускаю деда вперед. Я все-таки побаиваюсь, что мой фонарь вдруг осветит где-нибудь в уголку существо, похожее на те, что я недавно видел в иллюстрациях к гоголевскому «Вию».

II

Дед идет уверенно, сильно согнувшись, и как-то тяжело бьет сапогами в каменные ступени. В третьем ярусе, который уже выступает над зданием церкви, с балки в испуге срывается голубь, спросонья ударяется в стену, разыскивая окно, и шумно и радостно, как спасшийся от гибели, вылетает в небо.

В первую минуту я невольно приседаю от страха и неожиданности, но дед спокоен, как будто уже, идя сюда, он знает, что в третьем ярусе вылетит голубь, и тут пугаться нечего.

— Побьет шкалики, глупая птица, — ворчит он. — Сказывал, чтоб загородили окна, — нет. Глянь-ка, хлопчик, целы?

В корзинах в углу, один к другому, сложены шкалики и переложены бумажками. Рядом, у самых окон, уже утверждены большие осьмиконечные кресты с проволоками.

— Целы, — ну, то-то! Птица неразумная. С птицы что возьмешь? Держи шапку, милай.

Струя резкого сквозного ветра с вызывающим озорным свистом проносится мимо, когда мы узким коридорчиком-лесенкой поднимаемся в следующий ярус.

В просветы окон я вижу ближние деревья, обступившие церковь, еще черные, голые и колючие, край темного кладбища с рассеянными там и сям огоньками лампадок, и вверх небо, темное, как грифельная доска.

В самый верхний ярус, где самые маленькие колокола и самые мелкие окна и откуда видно взморье, мы поднимаемся уже по приставной деревянной лестнице, с которой нетрудно, зазевавшись, свалиться. Это всего десять-двенадцать ступеней, но я цепляюсь по ним не без жуткого чувства.

Днем отсюда могилы и часовенки кажутся игрушечными, могильщики — мальчиками и дети — муравьями. Сейчас отсюда не разобрать ничего внизу, в серой массе, и небо со звездами кажется ближе земли.

III

Ветер уже не треплет седую бороду и волосы Артема. В последнем ярусе сквозняка нет. Здесь холодновато, но тихо. Шкалики будут гореть чудесно!

Артем сам находит в углу корзину, и мы оба начинаем расставлять шкалики по проволокам. Левою рукою он нащупывает проволочное кольцо, правую вставляет шкалик и делает это с такою последовательностью и без пропусков, что можно подумать, — он зрячий.

— Эге ж, хлопчик, вот я и еще до одной Пасхи дожил, — говорит он. — А которая, скажи на милость, — забыл! И хворал нонче дюже, — дюже хворал. Думал, не встану. Сობоровался. Одначе, рассуждаю так, что мертвый лист мне еще, значит, не вышел.

— Какой мертвый лист, деда?

— Есть такой мертвый лист в Требнике. Как читает священник над больным последнюю молитву, так уж он и знает, оздоровит больной, ай нет. Кому этот лист вышел, — тому уж не встать, — не-ет, миляга, не встать. Мне о. Алексей тогда прямо сказал: «Ништо, — говорит, — старик, оздоровишь!»

— А какой же он, мертвый лист?

— Мертвый как мертвый, — уверенно отвечает Артем и, точно сам раздумавшись, прибавляет: — Какой мертвый, — кто его знает, хлопчик? У отца спроси. Чай, дьякон то же знает, что и поп, только им разная сила дадена. А наука у их одна!.. Как дал мне дьячок Боголюбов, Викул Макарыч, с божеской книги копоты, — с той поры и полегчило.

— Какой копоты, деда?

— Ну, вот что на божески книги садится. Собери ее в церкви, размешай в теплой воде и на тощую утробу выпей с усердием. А сам в это время богобоязненные мысли имей. У Бога, хлопчик, доброго много, — только знать надо. Все на пользу человеку дадено. Ничего, братец, зря не сделано. Ты вот каждый день, как проснешься, перекрестись на вос-

ток и скажи: «Неплодствовавший мой ум плодоносен, Боже, покажи ми»...

IV

В бледном свете фонаря лицо Артема прекрасно. Мартовский ветер слегка поддрумьянил его щеки. Волосы и борода его белы, как лен, но испуганно вскинутые брови черны. Весь нижний ряд зубов, обнажающийся из-под больших хохлацких усов, когда он говорит, сохранен и бел. Глаза его широко раскрыты и полны той святой и покорной грусти, какую можно подсмотреть только в глазах слепых. Кажется, что они видят что-то далекое. На самом деле, если пред ними вычеркнуть спичку или поднести к ним шило, — они не дрогнут.

И весь он для меня — как старый библейский мудрец, знающий в своей слепоте больше, чем все ученые, разумные и зрячие. Такого Артема я люблю нежно и трогательно, и не может быть выше радости, как слушать его.

— Каждая былинка свою причину имеет, — вещь говорит он, — только все надо знать: и как ее засушить, и как истолочь, и когда испить. Царь в травах — Иван-трава. Листы круглы, что твои денежки, и в пять цветов, а глухому дай пить, — слышать станет. У Верелаха цвет бел, аки лебедь, а добра, хлопчик, та трава от порчи, — ой, добра! Конуй тоже взять. У Конуя один корень мужеск, другой женск. Мужеск бел, женский смугл.

Кресты готовы. Мы спускаемся ниже, и я узнаю, что Конуй надо давать жене, разлюбившей мужа, а женщину, скорбную месячною скорбью, надо поить Петровым Крестом.

— Одолен корень от зубов добр, — точно себе говорит он. — А Перенос сон чинит. Покуль его из-под головы не вынешь, — все спит человек. А Абис, а Змейка, а Сот, а Ладан лесной! Погрызи его, — сердце успокоится. Кошка, и та ему рада. Дохтора валерьянкой зовут, а по-нашему, по старине, Лесной ладан будет... А что, милачок, много звезд на

небе, — не вижу?

— Много.

— А небо темное?

— Темное.

— Чую, а почему чую, — не знаю.

Артем подходит к самому пролету окна и смотрит в черный воздух, точно что-нибудь может там увидеть.

— И в камне, хлопчик, та же Божия мудрость и сила, и в звере, — продолжает он, снова принимаясь за шкалики, — Кошка в Благовещенье птицу не трогает. Которая мышь крошку святой пасхи съест, — в кожана (летучая мышь) превращается. Всякого зверя, скажу тебе, можно не лаской, так умом взять. Служил это в Иркутске архирей. Забыл, как звали. Вот раз за именитым обедом говорят при ем, какие иногда злые собаки бывают. «А я, — говорит, — никакой собаки не боюсь». Это архирей-то. «Ну, — говорят, — а такой, как у купца Юхина, и вы испужаетесь. Зверь! Кошек, собак рвет десятками». — «А меня, — говорит, — не тронет». Смекай, хлопчик, что архирей-то говорит. «Ведите, — говорит, — меня к ей и спустите ее на меня с цепи». Давай тут его уговаривать: «Изорвет-де вас собака». — «Нет, — говорит, — она меня не тронет, и я ее не трону, только поглажу».

V

Далеко в черном и холодном воздухе вдруг вспыхивают огни. Они растут, яснееют, и на фоне мрака я вижу явственный огненный крест. Это зажгли на соседней Благовещенской церкви.

Колокольни не видно, и крест стоит одиноко в небе под звездами, как прекрасное знамение, так что жутко смотреть. Еще минута, и над ним вырастает такой же другой. Только теперь, при сравнении, можно понять, как с колокольни еще далеко до неба!

— Деда, — радостно говорю я, — а у Благовещенья уж зажгли.

— Ишь, торопятся, — спокойно отвечает Артем, — чай, полунощницу-то еще только начали. Пожди, хлопчик, придет Петра и у нас зажжет. Ну, слухай дальше. Пришли это на купецкий двор. Собака — чистый волк. «Спустите», — говорит архирей. — «Да вы хошь палку возьмите». — «Не надо мне и палки». Замечай, малый, — и палки не надо! Подошел к ей привычный человек, спустил ее. Народ весь по окнам попрятался. Стоит на дворе один архирей, старик беззащитный. Только, смотрят, сделал он шаг к собаке, а та от его задом, вся оцетинившись, пятится. Он к ей спокойнехонько, а она вся замерла и дрожкой дрожит. Что бы такое, хлопчик? Подошел он, погладил ее, — она ему руку лизнула. Как раб, значит. Очень тогда ему дивились. Почитай, за святого считали, — да и как иначе-то? И до самой своей смерти никому не открыл архирей, почему так. Только как помирать стал, другу своему признался. «У меня, — говорит, — в левой поле была львиная шерсть зашита. К такому, — говорит, — человеку всяк зверь трепет чувствует, потому царь во зверях лев от сотворения мира».

Я начинаю уже беспокоиться, придет ли вовремя Петр, но не решаюсь перебивать старика, а его голос по-прежнему звучит над моим ухом:

— А камни взять. Скажи на милость, почему зерновик и во огне хладен? Алмазу почему дадено прогонять пустые страхи? Который человек аматист носит, — пьянственной напасти избавлен, а от смотрения на смарагд незрячему возвращается зрение.

VI

Голос старика вдруг становится грустным и унылым, как жалоба.

— Ищу всю жисть, а не могу найти этот самый смарагд-камень, — говорит он. — У его превосходительства, генерала от артиллерии Грешищева спрашивал, у многих спрашивал, — не нашел. В Афимьевском монастыре архи-

рей раз служил. Я на клиросе стоял. Хороший у меня, хлопчик, в старину голос был. Говорит: «Слава Тебе, показавшему нам свет». Я, как дурной, в слезы. Увидал это он с алтаря. «Эге ж, — говорит, — чего ж это так человек убивается?» — «Слепенький», — говорят. «Так чего ж ему плакать?» Привели меня, хлопчик, к ему опосле службы в алтарь. «Чему ты?» — спрашивает. «Тому, — говорю, — что показал мне Бог свет, да и назад взял». Так и сказал, хлопчик. И про смарагд ему сказал. Осмелел. Архирей, думаю, коли захочет — достанет. «Пустое ты, — говорит, — сказываешь. На вот тебе полтинник». А что мне полтинник? Мне бы на смарагд посмотреть. В последний бы год живота моего ясное солнце узреть, золотой кумпол церковный, птицу Божью пернатую, робенка малого...

Кругом в океане тьмы, которая не просветлела, а точно стала от этого еще чернее, уже высятся огненные кресты направо и налево. Издали доносятся глухой гул, — где-то уже зазвонили.

— А что, деда, правда это, что есть на земле люди-песглавцы?

Артем минуту молчит, словно думая, и отвечает так же серьезно, без усмешки:

— Нет, хлопчик, нет таких людей. Бабьи то сказки. Была песья голова у святого мученика Христофора, да и то до святого крещения. Как крестился, стала человечья, и образ его с песьей головой живописцам писать заказано. «Пишите его, — сказано, — противу великомученика Димитрия. Не подобает христианину песьей голове молиться».

VII

Внизу глухо хлопает дверь. Дед слышит звук почти раньше меня и говорит: «Вот и Петр». Еще минута, и наша колокольня озаряется огнями. Петр дает мне длинный, сильно разгоревшийся фитиль, и один из крестов я зажигаю

совершенно самостоятельно. Как я горд и счастлив в эту минуту, — я, возжигающий огненные знаки в небе!..

Петр сообщает, что в церкви уже пропели «Не рыдай мене, Мати». Плащаница уже убрана на престол, и значит, пора начинать звон. Артем обнажает голову и крестится широким мужицким крестом. «Ну, теперича раскрой рот, а не то оглушит!» — предваряет он. И он берется за веревку, и первый удар колокола, как бомба, прорезает сонный воздух.

Я оглушен и, сотрясаясь от радостного детского смеха, вставляю два пальца в оба уха и потешаюсь странно прерывающимся густым и великолепным звуком.

Сейчас утренняя, и я торопливо бегу вниз, уже не боясь никакой нечистой силы. Я знаю, что теперь она запечатлена в преисподней рукою Поправшего ад и смерть. У нижнего яруса я на минуту останавливаюсь. Отсюда видно густое движение человеческой массы в кладбище, и, прислушавшись, можно даже поймать смутный гул, похожий на гул далекого улья.

Еще минута, и я стою в залитой огнями церкви. В голове я держу мысль, что среди других прошений я должен помолиться о том, чтобы старому Артему хоть накануне смерти посчастливилось достать чудотворящий смарагд...

ЧЕРНЫЙ ВОРОН

I

Я слышал этот рассказ под завывание ветра и песню вьюги, злившейся на дворе и бросавшей целые сугробы сухого и жесткого снега в ветхие рамы монастырской гостиницы. Было в трубе и выло на широком пустыре, окружавшем обитель, и казалось, что там слезно жалуется и горько сетует кто-то поработанный и униженный, и ему, во тьме ненастной и бурной декабрьской ночи, расточает свои угрозы кто-то беспощадный, властный и нагло-несправедливый. Убогая лампочка, скорее ночник, освещала только лицо да лоснящиеся рукава подрясника моего собеседника, старика-монаха. С каждым новым порывом ветра его маленькие старческие глаза трусливо мигали, и с уст срывались покаянные восклицания. И эти скорбные вздохи и молитвенные воздыхания находились в удивительной гармонии и с его исполненной смирения фигурой, и скромной кельей, погруженной в таинственный полусумрак.

Обстановка вечера настраивала как-то особенно, и я чувствовал, что мое настроение разделял со мною и мой сосед, этот протест-мистик с болезненно-восторженным взором и горячим сердцем, в ранней молодости ушедший в монастырь от тоскливой прозы жизни и скучно-ровной обыденщины. В два вечера, проведенные вместе, я мог до известной степени ознакомиться с ним, и этот скромный, неученый человек казался мне любопытным и своеобразным. В его представлении все было освещено каким-то мягким мистико-поэтическим светом, и невольно хотелось верить легендам, какие он рассказывал.

Не совсем обычное настроение поддерживала во мне и сама комната гостиницы с ее скудной обстановкой. В монастыре существовало предание, что лет полсотни назад, когда братия жила еще в старом, уже сломанном здании, и в помещении, где мы сидели, хранилась монастырская биб-

лиотека, — в нижнем этаже этого дома видели тень старого, давно умершего игумена. Он ходил по длинной анфиладе комнат в своей широкой мантии, с горящею свечою в руке, и в одиноком здании звучало глухое пение ирмоса: «Вскую мя отринул еси от лица твоего, свете незаходимый...» Старик пел начало песни о своем окаянстве, и долго его тень не находила себе могильного покоя, пока новый игумен не учинил по нем особого парастаса. Тогда старец допел отрадный конец священной песни, которого не мог спеть ранее, и с тех пор успокоилась и исчезла мятущаяся тень...

Вот что услышал я от старого монаха в этот декабрьский вечер в стенах монастырской гостиницы...

II

— В монастыре я уже двадцать седьмой год, — начал рассказчик, — да до рясофора это случилось годов за десять. Семья у отца была большая, сам же он был человек маленький, служил дьячком в селе и жил в скудости и безжизнотии, так что только старшему из нас довелось попасть в бурсу и поучиться, а остальные так невеждами и остались.

Сестры мои разошлись по родственникам, братья очень скоро зажили каждый своим домом, а я, как меньшей, пребывал со своим отцом в селе да помогал ему по службе. На ту пору жил с нами и другой мой брат постарше — Антон. Человек он был дельный и Богом не обиженный, но обуреваем был пьянственной напастью и надолго ни на каком месте не мог зажитья. Ходил он больше по монастырям и служил в них послушником, а когда такое житье не в мочь становилось, бросал свою келью и после запоя к отцу являлся, чтоб прожить у него, куда тот не прогонит.

Как-то по зиме съездил отец в соседнее село на базар. Село было куда нашего повиднее, и каждый месяц туда видимо-невидимо цыган наезжало барышничать. Вернулся отец и привез с собой какого-то старика незнамого. Повстре-

чал, говорит, на дороге, и жалость взяла. Мороз крепкий, и ночь спускается, а человек в каких-то лохмотьях идет, палкой подпирается и сам с собой ведет беседу немолчную. Отец у меня был сердобольный, перекинулся с ним словом, узнал, что тот ему попутчик и посадил на телегу. А как к дому подъехали, видит он, что странный человек совсем сник и едва языком двигает, сам же весь окостенел и застыл. Не захотелось отцу брать греха на душу и принял он незнакомого гостя к себе на ночлег.

Чудной это был гость, и рассматривал я его с большим любопытством. Лет ему, видно, много; сам же он сгорблен и сух, и седые нестриженные волосы во все стороны торчат, словно перья. Глаза как бы больные и слезятся, но смотрят проникновенно и пытливо, и все лицо точно землей подернуто, — черно и мрачно. Держит он себя как-то беспокойно, и весь вечно в движении, — руками машет, глазами мигает, и по губам судорога бежит... Посидели мы с ним с час, и все сразу увидели, что не простой он человек, а либо больной, либо вовсе с максимцем, либо сам на себя дурь напускает. Говорит неудобовразумительно и словно загадку загадывает, а нет-нет и вставит от божественных писаний и зачнет креститься. Спрашивает его отец, кто он такой и к какому делу себя приспособил, а он в ответ:

— Я, — говорит, — человек от земли перстен. Мал бех в братии моей и странен сыновом матери моя... Хожу из града в весь и из веси в дебрь лесную. Взыскую града грядущего... Несу, — говорит, — под ветхим лохмотьем сердце гневное. Кому возведу веселье, кому скорбь... Иду с обличением и наказанием и ревностью попадаюсь...

— Чем же ты, — спрашивает отец, — питаешься, коли ничего, кроме обличений, не делаешь?

— Смотрите, — говорит, — крин сельных, како цветут... Мне многого не надо: я всех отщетию и вмению вся уме-ты быти, да Христа приобретаю... Что дадут, тем я и сыт. Да и разные есть люди: не все гадову душу в теле человеческом носят, иные и ангельскую... Искушается ангельская душа в человеческом теле, как золото в печи, а бесовская пагубу заслуживает. Все люди либо бесы, либо ангелы... Знай-

те, — говорит, — это, только никому не говорите... И вот эти-то ангельские души не дадут ни с голоду помереть, ни с холоду замерзнуть... Иду и дерзаю, и в лес к зверям вступаю бестрепетною ногою... Ныне мне сапоги дали, а то я босой по снегу хожу...

Брат мой Антон предерзостен был и на язык не воздержан. Усмехнулся он и спрашивает:

— А ты, — говорит, — сам-то бес али ангел во плоти?

Вижу я, старика всего передернуло, и палка у него по полу мелкую дробь забила. Глаза налились, и лицо еще больше потемнело.

— Сказал бы, — говорит, — я тебе слово, да жаль тебя за твое несмыслие. Не отметаю безумному безумия его, да не подобен ему буду... Пусть, — говорит, — твое тщегласие на твою голову ляжет. Меня оно не опоганит, и ангел мой благостно простит тебя, невегласа. Многи скорби праведным... И не то еще мне перенести следует. От юности моя враг мя искушает.

Антон же не унимается и все больше его подзадоривает:

— Что же, — говорит, — в каком виде враг тебя беспокоит?

Старик на него не смотрит, а только глазами мигает, крестится да опять от писаний продолжает:

— Дадесея ми — отвечает, — пакостник плоти, аггел сатанин, да ми пакости деет... Днем козни строит, ночью нападает со всем стремительством. Вот только этим посохом отражаю... Пужается и оскудевает духом... Как очи завел, он уж тут... Потому я и ночей не сплю. На час забылся, — и ладно, а то все сижу и палкой машу и «да воскреснет» читаю. Будет время, и я его погибели посмеюся...

III

Побеседовали мы подобающим образом, а потом и спать собрались. Отец говорит:

— Укладывайся, спать будем...

И рогожку ему на пол разостлал, и шубу дал укрыться, а его промокшую одежку над печкой посохнуть развесил. И раз ему сказал и другой, а старик все мешкает, под конец же и напрямик объявляет:

— Я, — говорит — спать не буду, потому что во сне я притрепетен, и он моим сонным безмолвием воспользуется. Он ведь, яко лев рыкая, ходит... Да напал на человека препоясанного и посрамился...

Попробовал его отец уговорить, — не сдастся он и стоит на своем. Загасили мы огонь, залезли по своим местам и только что глаза завели, — слышим, ворчит дед. То кому-то грозит, то молитву читает. Отец его остановил раз и другой, — тот затихнет, а потом его вдруг опять прорвет, и опять он что-нибудь выкрикнет. Брат мой в сердце вошел и злобно ему говорит:

— Коли ты, — говорит, — старче праведный, молчать не умеешь, так вот Бог, а вот порог. Псалмы мы и без тебя знаем, а если ты нам хочешь мешать, так забирай свою сомовью шубу и ступай по произволению.

Смотрим, старец наш и в самом деле уходить собирается. Достал с печи свою одежку и впотьмах шарит, — сапоги разыскивает. Отец его окликает и останавливает.

— Оставайся, — говорит, — это зря сказано. Куда ты, шальной, на мороз пойдешь? Никто тебя не гонит, только и ты не умничай...

А он, слышно, встал и по горнице ходит и дерзостный ответ держит:

— Нет, — говорит, — уйду, и прах от ног отрясаю... Да будет дом их пуст, и в жилищах их да не будет живой... А мне пострадать радостно... Смирью и поработаю тело мое, а дух, как факел, возгорается... Только, — говорит, — горе граду, избившему пророки... Се аз на тя Гог и Магог!.. Почто изыдете на мя с дреколием?

Слез Антон с печи, и сам не рад, что старика обидел, потому, в самом деле, жутко его, что скотину, на мороз выгнать. Но тот палкою машет и воинствует.

— Не подходи, — говорит. — Не прикасайтесь помазанным моим и во пророцех моих не лукавнуйте... А отмщение за меня воздам не я... Велия скорбь, якова не бысть, ниже имать быти. Черные вороны и летучие мыши... Ишь их сколько!.. Кш!.. И да бежат от лица его!.. И да бежат, и да бежат!..

Оделся и впрямь вышел из избы, и все бормочет и палкой стучит. Отец с лежанки сошел и дает мне тулуп.

— Накинь, — говорит, — и верни его. Нельзя же его впрямь на метель пустить, — замерзнет.

Наскоро засветил я фонарь и за порог вышел. Вижу: вьюга гудит, и снежная пыль кружит и в лицо бьет, а он уже шагах в двадцати на дороге: и что-то говорит, и кому-то угрожает. Окликнул я его, а ветер чуть с ног не сшибает и огонь в фонаре загасил. Жутко мне стало в такой тьме непроглядной и холодно, а я уж почти дремал и спросонья все это словно в тумане созерцаю. Едва отыскал я скобину дверную и скорей на полати...

— Ложитесь, — говорю, — чего с ним, шалопутом, хоро- водиться...

IV

Как это по-ученому, сударь, выходит, я не знаю, и имеет ли этот старец какое касательство к тем событиям, о коих я вам сейчас повествовать буду, — не ведаю, но сам я, протец, и все у нас на селе полагали, что этот случай по его вине приключился. Дело все в том, что на другой день, этак после вечерни, на нашей сельской церкви, на колокольне, у самого верха, под крестовым шаром, завяз ворон. Этой птицы у нас на кладбище всегда было много. Порой, бывало, Бог весть с чего разлетаются по всему селу с криком и гамом, и носятся без уговону туда и сюда, что шальные. И уж как это вышло, не могу сказать, но попал ворон лапой в трещину на верху колокольни, где железные спаи от ветхости раздвинулись, — и повис вниз головой. Птица бо-

льшая и сильная, но где бы ей умом брать, — она в перепуге и от боли мечется и зря возстязуется. Тянется изо всех сил вперед, и упереться ей нельзя, чтобы ногу оторвать, а голова затекает и книзу клонит. Рвется, рвется и обессиляется, и висит, широко крылья раскинув, а потом опять с духом соберется, — «ну, в последний раз», — думает, — и снова бьется, и трепещет и нудится...

Воронье кругом летает и в жалостном страхе кричит, и на крик собралось с села много народу. Поначалу потешались, — потому грубый у нас народ и жестокий, — а потом и жалко и жутко стало. Так же вот точно порой и человек... Попадет в беду и уж неминуемо погибнуть должен, и сбоку уж всем видно, что он сгинет, а он еще все силится, и счастье пытается, и мыслит, что вот-де, может, последнее усилие, и придет спасенье, а это-де пустыки, что все суставы переломаны... И самое страшное то, что со стороны-то человек это видит, а уж ничего сделать не может, только смотреть должен да сердцем казнить. Так вот и тут... Колокольня высока, и к птице ни на какой лестнице не влезешь, да она того и не стоит; камнем же ее не сшибешь и с ружья не пристрелишь, потому того гляди в крест попадешь, и озорство выйdet...

Постояли мужики, поговорили да так и решили уйти ни с чем. Авось, дескать, к утру сам либо ногу с мясом оторвет, либо удачно ее повернет и вырвется. Только, как стали расходиться, староста наш и говорит:

— Это не к добру. Ворон, говорит, всегда не к добру, а на церкви особливо. Поганая птица... Когда Христа распинали, вороны гвозди носили. Ужо посмотрите, что-нибудь неладное выйdet.

Помню, наутро, как проснулся я, одолело меня любопытство, — дай, пойду, посмотрю на узника. Поди, вырвался, думаю. Но как только вышел из избы, — а жили мы от церкви совсем неподалеку, — так и вижу, все еще тут, бедняга. И показалось мне, будто он все рвется и крыльями машет, но поближе подошел, понял, что птица уж за ночь сдохла, и это ее беспокойный ветер колышет. На косогоре у нас всегда ветры... Днем уж это дело было, и кругом свет-

ло было и чисто, потому снегу за ночь намело, а как позадумался я, так опять по-вчерашнему жутко стало... Бог его знает что... И жаль-то птицу, и невесть чего-то трепетно, и тут как раз вспомнился этот шальной старик и то, что он про какого-то черного ворона сболтнул. Сам себя утешаю; говорю, что это он совсем зря, а в голове все та же дума сидит, — и черный ворон, и летучие мыши, и этот старик, не то расстрига какой, — не то раскольник.

Рассказал, конечно, отец по селу про своего гостя. И что тот про ворона говорил, тоже поведал. Заахали мужики. В один голос заговорили, что это не к добру... Порасспросил отец, не просился ли к кому в ту ночь наш гость, — никто не признался. Заезжал к нам соседний урядник, спросили у него, не находили ли в их селе замерзшего человека. Вышло, что никого не находили... Отлегло у моего отца от сердца...

V

Ворон висел и сох. В ветреные дни его в сторону колыхало, и казалось, будто он все еще жив и хочет улететь, но не может, — и по вечерам от этого делалось жутко. В снежные дни его заносило снегом, а после оттепелей он своим боком прилипал к зеленому железу острого купола. Уж и попривыкать к нему на селе начали. Днем, к примеру, подведут к церкви цыгана, что с соседнего села едет, показывают на ворона и спрашивают:

— Ты, — говорят, — не знаешь, что это за штука?

— Знаю, — отвечает.

— Так кто же, мол, это?

— А это, — говорит, — вырона...

— Ну, вот, — смеются, — и ты такой же черный, как эта вырона...

И хохочут над ним во все горло, а как вечер наступит, так все и норовят от церкви подальше... Поскорей проходят и крестятся... И как вам угодно, называйте меня суевером или

нет, — только пошли у нас по селу дела, о каких в нашем тихомирном уголке доселе никогда слыхом не слыхать было. Тихий и уж немолодой мужик свою жену невесть с чего удушил, а потом в овине на веревку подвесил, и сам соседей в овин позвал; через неделю же во всем повинился. Потом дьячкову жену в колодце нашли, — не то сама кинулась, не то по нечаянию упала. У старшины двое взрослых сыновей померли, а на Николу пожаром край деревни смело...

Заговорил народ про ворона. Так все и порешили, что это его дело. Все видят, что снять надо, а до дела никак не дойти. Попытал было счастье наш церковный сторож, вылез из окошечка, что в куполе, да как заглянул наверх, так сейчас и оробел и назад спрятался. До ворона разве что шестом достанешь, а взглянешь вниз, — голова туманится.

Проезжал через наше село на базар соседский дьякон. Повстречал нашего батюшку и подивился на ворона.

— Как это, — говорит, — вы, ваше преподобие, не озаботитесь? Церковь не бедная, дали бы вознаграждение, а уж сняли бы такую нечисть... А то ведь соблазн, помилуйте...

Побеседовал батюшка со старостой, а когда за неделю перед Рождеством у нас сход случился, он и заявляет:

— Вот что, — говорит, — православные. Великий праздник подходит, Христос рождается, а у нас в селе такое достосожалительное бесчиние... Мы, — говорит, — с Иваном Савичем решили пять рублей дать тому, кто птицу с купола уберет... Как-никак, уж сделайте вы это дело ради церкви Божией. И мне неприятно, — неравно благочинный заглянет, — да и вам соромно...

Молчит народ, и никто не решается. Староста говорит:

— Я еще от себя пятишницу прибавлю...

Но и на этот зов все немотствуют, и батюшка уж начал было укоризненные речи говорить, как вдруг мой брат Антон перед сход выступил и говорит:

— Благословите, — говорит, — меня, отец Никифор. Я это дело один оборудую...

VI

Было это и для отца, и для меня, да, полагаю, и для самого Антона большою внезапностью. Отец его попрекает, а он смеется.

— Эко, — говорит, — дело, подумаешь. Не на войну идти. Просто-напросто я длинный шест с крючьями сделаю, через окошко к куполу себя притяну веревкой и ворона сорву. А Ефим, — это меня так в миру именовали, — мне поможет. Кабы, говорит, дело летом было и можно было босиком лезть, так я бы все это туне сделал, а теперь надо обутому, — этак и скользко, и опасно.

Как мороз малость поотлег, Антон забрал с собою новую толстую веревку, только что с базара, и заготовленный шест и говорит мне: «Пойдем». Мужичков внизу около колокольни немало собралось, а мы да еще двое парней в колокольню полезли.

— Вот, — говорит Антон, — я в это колокольное окно, что деревянным сияньицем окружено, вылезу, ползком по карнизу проползу и обведу основание купола кругом веревкой, — потом подыму ее себе на грудь и буду за нее держаться. А другой рукой свободно стану шестом ворона шарить.

Карниз был четверти в три, а не то и во весь аршин, и проползти по нему на высоте было небезопасно. Но ежели бы уж это дело он сделал, так, можно сказать, и вся бы опасность миновала. Антон же был маленький и худощавый и не по такому бы ободку пролез. Выпил он для смелости, привязал к поясу веревку, покрестился и вышел на дело.

— Ништо, — говорит. — Только вниз глядеть не следоват.

Замер у меня дух, как он вылез. Побледнел весь. Только и крещусь да твержу: «Господи, Господи!..» Вдруг да, думаю... Минуты с часы показались. Но вот, вижу, с другой стороны голова завиднелась. Уж заворот делает, телом к куполу, что червь, жметя, а на самом лица нет, и руки, и губы дрожат... Ухватил я его за рубаху: «Не робей, — говорю,

— теперь все обошлось».

Влез Антон в окно, отдышаться не может, — словно бы с версту бегом бежал. И жалко таково улыбается.

— Ну, — говорит, — не полагал, что жив останусь, зато теперь дело слажено.

Поотдохнул малость и опять, вылезши, стал веревкуверху вздергивать и в узел затягивать. Затянул наскоро и возвращается, спокойный и ясный.

— Как вылезу — говорит, — так ты, Ефим, мне шест дай...

Что он говорил, то мы делали, и вот уже слышим, он концом шеста по крыше елозит, и скрип в сырой пустоте отдается гулко и зловеще. Затекала у меня голова, вверх смотревши, и я на минуту от окна отступил и распрямился. Вдруг слышу, внизу вся толпа, что один человек, как ахнет...

«Боже мой, — думаю, — неужели?..»

Метнулся к окну и слышу, как внизу что-то тяжелым снопом о землю ухнуло, брата же на карнизе нет, и веревка сорвана... Сомлел я, и что дальше было, того уже самовидцем не был...

VII

Подняли Антона, — царство ему небесное, вечный покой, легкое лежанище — уже бездыханного, потому, падая, он головою о каменный карниз ударился и череп раскроил, так что, может, о землю уже мертвым упал. Надо так полагать, что веревка была очень уж крута и нова, и, видимо, узел на ней от натуги раскрутился, когда он, на ее крепость понадеясь, посильнее налег. Ворона же как-никак ему удалось зацепить, и после его с оборванной ногой на церковной крыше ребятишки разыскали... Похоронили брата с почетом, и отец Никифор над его гробом длинное и чувствительное слово сказал...

На селе у нас с той поры стало мирно...

Лицо рассказчика было печально-серьезно. В глазах светилась глубокая вера в участие сверхъестественной силы в этой истории странных совпадений, завершившейся для него роковой семейной трагедией. Видимо было, что даже теперь воспоминания о ней вызывали в нем тяжелые и мучительные впечатления...

По-прежнему выл ветер и крутила вьюга. Под завывание бури глухо звенели удары монастырского колокола. Заблудившимся и сбившимся с пути в морозной мгле непогодной ночи мирная обитель приходила на помощь, призывая их к тихому и гостеприимному пристанищу...



I

Вчера в 9 ч. 20 м. вечера, босой и осторожный, как дьявол, я пробрался в директорскую и в отчетной книге против своей фамилии прочитал бессмысленные слова: «Первичное сумасшествие с идеями садического бреда». Как врач, я перевел латынь, и меня сотряс внутренний смех.

В моей власти было превратить книгу в кучу лоскутков. Психически больной не устоял бы на моем месте. Но я даже не написал на этой странице «идиоты». Я только подчеркнул тут же лежавшим цветным карандашом дурацкую строку и поставил около нее три вопросительных знака. Пусть они поймут сами!

Потом я так же осторожно вернулся в свою комнату и лег на койку. А ночью, когда мне по обыкновению не спалось, я взял бумагу я написал вот это, чтобы вы судили сами, похож ли я на человека, у которого первичное сумасшествие с идеями бреда.

* * *

В дворянском гербе моего рода есть жезл, — эмблема власти, а власть, как известно, редко обходится без наси-

лия и жестокостей. Происхождение символа затерялось, но смысл ясен.

Родовая легенда рассказывает о моем деде, что однажды он вызвал на дуэль неприятного ему человека и про-ткнул его рапирой с тем спокойствием, с каким повар про-тыкает шашлык. Мой отец был известным хирургом, руки которого не дрожали в самых рискованных операциях.

Горе тому, кто родился сыном знаменитости. Люди не простят ему этого. И не простили мне. После одной убий-ственной хирургической ошибки, когда мое имя пронес-лось с ненавистью и насмешкой, как мне казалось, по всему миру, я поставил крест над этой карьерой и добился того, чтобы меня забыли.

Что было потом, прежде, чем поседели мои виски и я заперся в своем имении, — это к делу не относится. Если вам все-таки любопытно проследить извивы моей психи-ки, я скажу коротко. Да, здесь было много того, что обы-вательский язык зовет эксцессами. Было вино, были жен-щины, было все, что несет жгучее и острое наслаждение или блаженство забвения. Были радужные опьянения, гашиш, опиум, морфий.

II

Я поселился в имении отца, когда все эти развлечения молодости потеряли свое очарование.

Первые дни мне показалось почти счастьем это вели-колепное одиночество в старой усадьбе за высокой желез-ной решеткой с острыми пиками, среди таких спокойных, таких мудрых, таких старых дубов. Такой великолепный девственный снег лежал повсюду! Чтобы не скучать, я вы-писал заранее из-за границы целую библиотеку и целый фи-зический кабинет, — все новости медицины, все последние слова химии.

Был отведен целый угол двора, для разводки кроликов. В полдень я иногда заходил сюда и сам указывал тех, кто

уже созрел для моего мраморного стола.

Вы скажете, что мои опыты были жестоки. Может быть, но не я первый додумался резать кроликов.

Впрочем, было бы неправдой сказать, что процесс вскрытия не доставлял мне удовольствия. Удовольствие было. Вы держите еще трепещущее сердце, уже отрешенное от тела, которое его живило. Все тело еще дергается в последних судорогах, но вам оно уже не интересно. Интересно это сердце, которое я могу заставить замолчать и снова заставить жить.

III

Каково было существо моих опытов? Они были разнообразны и иногда причудливы и фантастичны, как грезы старых алхимиков.

Меня интересовали все опыты так называемого оживления сердца. Но ничуть не менее занимали секреты пола, тайны оплодотворения, рождения, сна, тайны перехода жизни в смерть. Еще юношей последний вопрос увлекал меня с болезненным интересом.

Я был жесток к кроликам, но я был жесток и к самому себе. На себе, как *in anima vili*, я перепробовал все возбуждающие и усыпляющие средства. На собственном сердце я испытал гибельное и сладкое действие хлоралгидрата, и на мозговой корке чары сульфонала и гедонала. Однажды под лошадиной дозой веронала я проспал, не пробуждаясь, 23 часа.

Было так тихо, что мир казался вымершим, когда вечерами и иногда ночью я сидел у своего мраморного стола. Во имя науки я загубил уже столько красноглазых животных, что ими можно было бы накормить французскую деревушку. Мои свиньи явно хорошели. И когда утром мой старик-лакей, очищая лабораторию, с отвращением двумя пальцами сбрасывал в корзину холодные, застывшие трупики, я видел на его лице осуждение моему маньячеству и

«живодерству».

Я догадывался, что говорил он, что вообще говорила обо мне моя челядь. К счастью, это меня совершенно не интересовало. У меня крепкие нервы. И у меня были крепкие замки, которые я лично осматривал на каждую ночь, и острые пики на высокой железной решетке под окнами кабинета.

IV

Я прожил год в уединении, никуда не выезжая, не отвечая на письма, когда меня увлекла волна исследований алкоголизма. Ради научных удобств, я должен был заменить кроликов собаками. В усадьбе была целая псарня. Я зашел к старому егерю и, отделив десяток добрых псов, велел отослать их ко мне.

— И с этого дня, — сказал я, — не топите щенков. По возможности, выкармливайте всех. Они понадобятся.

Человек давно сделал животное участником своих пьяных радостей. Уже книга Маккавеев в Библии свидетельствует, что в древности боевых слонов напаивали перед боем, чтобы они были смелее. Африканские негры ловят обезьян на вино и потом пьяных берут за лапу и уводят в свои деревни.

Меня заняла мысль, что может дать алкоголь в конечном итоге. Разрушение, конечно, но этому разрушению не будет ли предшествовать волшебная вспышка утонченных и обостренных сил? Разве у меня самого не было в прошлом минут, когда, под влиянием таинственного могущества алкоголя, я становился остроумным, находчивым, талантливym? Когда-то ум обезьяны преодолел какую-то грань, и на земле явился человек.

V

Люди, понимающие толк в собаках, скажут вам, что к пуделям относится все, что говорят об уме и добром нраве собак. В научных книгах вы прочтете о пуделе, пользовавшемся вставными зубами или ловившем раков для монахов какого-то французского монастыря. Но мне нужна была утонченная, рафинированная порода, уже исключительно окультуренная и стоящая на дороге к неврастении. И, я взял гончих, эту нервную, тонкую породу, умную, как человек и, как человек, злую.

И вот огромную залу, известную в усадьбе под именем второй столовой, я превратил в зверинец. Может быть, людская сочла меня сумасшедшим в тот день, когда я предоставил дубовый паркет, старинные зеркала и лакированные двери в распоряжение двух десятков псов. По объявлению я выписал из города бывшего фельдшера. Его лета, род занятий, привычка к крови казались мне подходящими свойствами. Когда я увидел несколько дикого, малоразговорчивого, по-видимому, озлобленного человека, прихрамывающего на одну ногу, я решительно остался им доволен.

И тогда мы начали спаивать сразу восемь собак, тех, которых было намечено спарить по весне.

VI

Не верьте басням естествоведов, что говорят о влечении животных к алкоголю. Ввести собак во вкус оказывалось так трудно, что поначалу я был почти близок к отчаянию. Все без исключения они отворачивали морды от алкоголя во всяком виде с непреодолимым отвращением.

Это были еще существа вполне здоровой, деревенской крови. Они предпочитали голодать, чем съесть кусок мяса со слабым запахом спирта. Тогда я должен был принять суровые меры и взять их измором. Я заставлял их голодать,

и после они жрали все, и пили молоко, сдобренное спиртом, — с отвращением, но и с жадностью.

Спирт вызывал жестокий насморк, иногда угрожавший их жизни. Инстинктивно они бежали отпаиваться водой, но вода уже была предусмотрительно убрана. Не скрою, к наиболее упрямым я должен был применить насилие.

Вино вливали им в раскрытую пасть.



Я был свидетелем диких зверских опьянений, неистовства и распутства. Эта ошалелая, кривляющаяся, стонущая в пьяной радости собачья свора казалась сорвавшейся с жуткой картины кошмарного Гойи. Что было неотразимо, — это поразительное сходство этих пьяниц и распутников с людьми.

Они разное поддавались степени опьянения. В то время, как одни, уже сморенные сном, падали и бредили или стонали в изнеможении, другие только входили в азарт, третьи плакали, четвертые смеялись. Да, да, это были настоящие плач и смех! Верхняя губа их приподнималась и морщилась, клыки оскаливались, уши прижимались кзади, на мордах появлялась гримаса, пунктуально соответствующая улыбке.

Потом передо мной проходили все степени собачьего похмелья, которое опять было чистым обезьянством человеческого. Псы ходили шатаясь, с воспаленными глазами, с опущенными хвостами, лохматые, грязные, скверные. Некоторые вздыхали буквально так, как вздыхает с похмелья человек.

Похмельных, их уже не нужно было спаивать. С жульническим видом и находчивостью истинных пьяниц, они сами вынюхивали каждый угол. И, конечно, всюду находили алкоголь. Так они вступали в заколдованный круг, и дни вертелись, как колесо, и спасения не было.

VII

Итак, если для первого поколения требовались некоторые усилия, то со вторым дело шло само собой. Это были уже наследственные алкоголики, всосавшие яд с молоком матери.

Книги говорили мне, что оплодотворение будет, но признаться, я боялся, что пересолил на первом поколении, слишком быстро споев его. Собаки не развивались, были ленивы, вялы, трусливы. У иных наблюдалось явное расстройство центральной нервной системы.

Я ждал третьего поколения с тем нетерпением, с каким глубокий старик, стоящий одной ногой в могиле, ждет внуков от любимой дочери. Казалось, все готовило мне разочарование. Были преждевременные разрешения, были смерти матерей в родах. Новорожденные околевали через час после появления на свет от острого малокровия или эпилепсии.

Я радостно вздохнул, когда передо мной, наконец, оказался довольно жизнеспособный щенок. Это был потомок лучших собак, когда-то побивавших рекорды и сорвавших целый ряд призов. Но, Боже мой, что осталось ему от величия предков! Я назвал его «Ульт», — первыми звуками

латинского «Ultimus», — последыш. Было ясно младенцу, что ждать потомства от такого — бессмыслие.

VIII

Это была картина полного и оскорбительного вырождения. Щенок был безобразен, как пародия на собаку, как та помель четвероногого и жабы, какую можно увидеть среди кошмарных гадов на старинных картинах «Искушения св. Антония» или «Шабаша на Брокене».

На кривых ногах явного рахитика держался мешок тяжелого живота, глаза вечно слезились, золотушный нос сопел, асимметрия отекающей морды была в глаза. Кожи казалось слишком много для низкого вырожденческого лба, и она ложилась на нем просторными складками. Иногда это давало впечатление мучительного напряжения его мозга. Чаще это было воплощенное выражение тупости, апатии и нравственной опущенности. При взгляде на Ульта вспоминался ернический тип ночного забулдыги последнего разбора из последнего квартала.

Я искал «утонченной психики», и вот чего достиг! Собака была тупа до такой степени, что привыкнуть к своему имени для нее уже было непреодолимой трудностью. Неврастения Ульта была чудовищна. При первом звуке музыки или пения он начинал плакать глухим, отвратительным воем, точно его пилили деревянной пилой. При малейшем неожиданном звуке он весь вздрагивал. И невероятную порочность его превосходила только потребность непробудного пьянства.

Насколько можно было угадывать, обычное настроение его было убийственное. Невероятный пульс отражался постоянным дрожанием всего тела. Он не находил себе места. Только опьянение сбрасывало с него этот гнет.

IX

На некоторое время Ульт всецело завладел мною. Я берег его, как берег наследника, со смертью которого ускользнет миллионное наследство. Я взял его из зверинца к себе, вел о нем точную запись, следил за его питанием.

Чем он платил мне? Пьяный яд, по-видимому, вытравил из него все чувства. Никогда я не уловил в нем малейшего проявления привязанности. Приближение мое будило в нем только подозрительность, злобу и глухое ворчанье. В его просьбах еды и питья было нахальство, но не было ни ласковости, ни благодарности.

Однажды, более притворяющийся, чем действительно пьяный, он больно хватил меня зубами за палец. Я размахнулся изо всей силы и дал ему оглушительную пощечину, отшвырнувшую его на другую сторону комнаты. Ульт заворчал с выразительностью невероятной. Мне так явственно почувствовалось в этом ворчании: «Погоди же!..»

X

Мы смотрели друг на друга, как два врага. И вот я увидел, как морщинистая кожа на его низком лбу натянулась, глаза потемнели, вся морда получила выразительность человеческого лица, чудовищную, обжигающую ненависть к себе, — ненависть за споенного деда, за отца, за мать, за свою гибель, которую в эту минуту он сознавал, — и обещание свести счеты...

Пускай пощечиной, но я выбил искру ума из этого тупого комка мяса, и в этот день я был счастлив, как Пигмалион. Моя теория оказывалась не так уж безнадежна. И я настойчиво всматривался в эти состояния редкой трезвости Ульта.

В этой вырожденской голове работал отяжелевший, но уже утонченный мозг. Ульт, без сомнения, сознавал ужас

своего падения. Столько тоски было в этих глазах! Несколько раз я заставлял его плачущим. Частые чистые слезы дробно катились по его короткому носу. Наука давно признала, что животные плачут. Слезы брызгают из глаз обезьяны, когда ее пугают. Если сверх силы навьючить верблюда, он вздыхает и плачет.

Я ждал предчувствий и ясновидения от Ульта, и тоже не ошибся. Несчастливая собака, без всякого сомнения, страдала галлюцинациями. Сны ее, по-видимому, были сплошным кошмаром. Спящая, она стонала, скулила, подвывала, иногда просыпалась с резким вскриком.

XI

Галлюцинации обычно приурочивались к вечеру. С открытыми глазами она вдруг вскидывалась, оскаливала зубы, приседала назад и замирала, не в силах попятиться, как если бы на нее надвигался призрак. Не могу скрыть, что всякий раз этот мистический ужас Ульта всецело передавался мне. У меня железные нервы, но, почти оцепенелый, я несколько секунд прислушивался, готовый сам увидеть кого-то, вошедшего сквозь двери.

Иногда через несколько минут в самом деле где-то стучала дверь чьи-либо шаги приближались к моему кабинету, кто-то входил. Но тогда, когда настораживался Ульт, еще не было никакой возможности предвидеть этот приход. Я мог быть доволен. У моего сверх-животного было второе зрение.

Я ошибался, когда думал, что в Ульте умерло чувство. С некоторого времени я стал замечать, что он радостно бросается навстречу фельдшеру. Однажды, совсем невидимый, я случайно подслушал разговор человека и собаки. Человек ставил ему питье на ночь, собака прыгала около него, лизала ему руки.

Он похлопывал ее и осыпал ласковыми ругательствами.

— Рада, сволочь! Ну не падай духом, Улька. Будет и на нашей улице праздник!..

Он буквально сказал так, — «будет и на нашей улице праздник»! Тогда я понял их заговор. Когда слуга ушел, я посмотрел и понюхал оставленное молоко. В нем не было ни одной капли алкоголя! Ни одной капли! Он меня обманывал, став на сторону собаки.

В этот вечер я вынул ящик с двумя револьверами и посадил в каждый по пяти пуль. И один я положил под подушку, другой — на письменный стол, под правую руку, и прикрыл газетой.

XII

В тот памятный вечер Ульт был годен для опытов, то есть трезв и в жестоком похмелье и тоске. Приступы галлюцинаций возвращались к нему периодически. Он был весь в тревоге и настораживался поминутно. Стоял августовский вечер. В открытое окно кабинета вливалась теплая тьма...

Около одиннадцати Ульт тревожно вскочил с хриплым лаем и бросился к двери. Словно чувствуя за нею чье-то присутствие, он ошетинился, осел и замер. Эта поза уже была запечатлена у меня десятком фотографий. Движение было настолько резко, что заставило меня вздрогнуть и просыпать на стол химическое соединение, какое я вешал на аптекарских весах. Это, наконец, раздражало. Пес вел себя так, точно в этот вечер должно было произойти что-то необычайное и трагическое!

«Глупый пес, — подумал я, вставая, — ничего не может произойти здесь, и ничто не произойдет, и, если у тебя расстроены нервы, я помогу тебе их настроить...»

И я взял дорогой гибкий жгут, с каким обычно ходил в «зверинец» и на псарню, и больно хлестнул Ульта по спине. Он взвизгнул от острой боли и отпрянул в сторону, но, к удивлению, не переменял позы и не отвел загнипнотизированных глаз от двери.

В углах кабинета уже оседала тьма. Может быть, иной на моем месте испытал бы чувство жуткости. Но громким, без дрожи, голосом я сказал:

— Кто здесь?

ХІІІ

Ответа не было. Тогда я подошел к двери, повернул ключ и сам открыл ее. За нею стоял, и, не дожидаясь зова, вошел мой фельдшер.

— Я пришел с вами переговорить...

Он сказал что-то подобное, и голос его дрожал, как голос человека, поднявшегося на седьмой этаж. Вдруг он взвизгнул: «Вы не имеете права издеваться над животным!» — значит, он слышал визг, — и я не успел мигнуть, как хлыст выскользнул из моей руки, и что-то огнем обожгло мою щеку...

Я не наблюдал его дальше, — так я был занят в ту минуту собой, и зато помню хорошо каждый свой шаг и каждое движение. Они были полны достоинства и даже красоты. Из-под газеты на столе я взял револьвер и, не целясь, выстрелил в него в уровень лица.

Помню, я нажал курок трижды и тогда подумал: «Довольно». Ибо он взмахнул рукой, как поскользнувшийся на льду, и упал. Повторяю, я действовал не в аффекте. Каждое движение мое было сознательно. Так покажу я и тогда, когда меня будут судить.

Я отвел глаза от убитого на единственного свидетеля нашей ссоры. Ульт стоял на окне и смотрел на меня глазами, полными ненависти. Миг, — и все туловище его взмахнуло в воздухе.

Он выбросился в окно и напоролся животом на острую пику решетки. Я утверждаю, что это был не несчастный случай, а самоубийство, не неудавшееся бегство, а сознательное харакири, — «сухая беда».

Он не спасался от моего раздражения, он не действовал в панике, видя кровь и смерть. Один я могу это утверждать, ибо один я видел его глаза. Наука тоже признала самоубийства животных. Он хотел, чтобы я всегда вспоминал его и «каялся». Он знал, что от того, кто видел собаку на пике, побежит сон.



Потом, так же сознательно и наружно спокойно, я сел к столу, взял телеграфный бланк и написал:

«Извещаю ваше превосходительство. Во время наглого покушения я убил своего служащего выстрелом револьвера. Прошу оградить меня крестьянского самосуда»...



I

Это говорил старый, в приказах поседелый, судейский чиновник.

— Преступная душа, господа, сложная и загадочная вещь. В ней — спутанные цепи переживаний, о которых обыкновенные смертные едва догадываются. Преступник иногда — артист, со всем увлечением таланта, фантазерством и восторгами достижения.

Я видел поэтов крови, чувствовавших прелесть убийства, как искусства для искусства. В их преступлении было их тщеславие. Ужас и изумление толпы отравляли их, как певицу отравляет треск аплодисментов. Летом, отдыхая под небом Сорренто, она сидит и нервничает. Ей кажется, что ее забыли, и она никому не нужна...

Когда был убит черниговский Ринальдо Ринальдини, знаменитый Савицкий, наводивший со своей шайкой ужас на целый край, его карманы оказались набитыми газетными вырезками. Он читал и перечитывал статьи и заметки о себе, как перечитывает актер старые рецензии.

II

Есть виды преступного сладострастия, до сих пор еще не выслеженные докторами и не обозначенные латинским названием. Есть неотразимое наслаждение жить среди людей, пользоваться уважением всех и знать, что, если бы открылись их глаза, вы пошли бы завтра на галеры. Это — хождение по краю бездны, это — чувство циркового акробата, ходящего под потолком. У всех заиграет дух, и у него больше всех.

Раскольников у Достоевского идет на то место, где он пролил кровь. Я утверждаю, господа, что этого не делает только один из десятка. Большинство влечется к этому непреодолимо. Снимите на месте убийства всех зевак первых дней, — один из этих снимков будет принадлежать убийце.

В доброй половине случаев он стоит здесь, когда мы пишем протоколы и фельдшер потрошит мертвые внутренности. Если в это время кто-нибудь особенно негодует и поминает заветы Христа, — заметьте его. Может быть, убил именно он. И с того дня, когда он убил, он уже не человек, а актер. Он не живет, а притворяется. Он играет роль невинного и наблюдает за впечатлением. Иногда он трепещет, чаще он аплодирует своему искусству.

III

В одной немецкой деревне крестьянин Тим Тоде зверски убил отца, мать, сестру, четырех братьев и служанку.

На все это ему понадобилось три часа. Он обдумал преступление до мельчайших подробностей и совершил его с невероятным хладнокровием. Он хотел стать единственным наследником и стал им. Обшарив карманы убитых, он, окровавленный, прибежал к соседу и поднял тревогу. Он кричал, что на его дом напали разбойники и что, наверное, там все уже перерезаны.

Никому не могло прийти в голову, что девятнадцатилетний мальчишка мог убить пятерых взрослых мужчин. Тем более, он был так смят несчастием! Над могилой дорогих родных Тоде устроил прекрасный памятник и вырезал надпись:

«О, таинственная смерть! Ты приходишь внезапно и требуешь человека на суд. Будь всегда готов, человек, предстать перед Сладчайшего Иисуса!..»

На другой стороне памятника было написано:

«Усыпальница семейства Тоде, злодейски умерщвленного рукой убийцы, в ночь на такое-то число», — и оставлено свободное место, чтобы вписать имя убийцы!..

В тихие летние сумерки, когда за лесом печально догорал край неба, патриархальные селяне видели бедного, одинокого Тима на одиноком кладбище. Он разметал песок и поливал цветы на родных могилах.

Шел из старой кирки старый пастор. Тим благословлялся у него и провожал его до дома, и они говорили о селениях блаженных, о незаходящем солнце праведных и кротком Иисусе...

И все говорили: «Бедный Тим Тоде! Такая мягкая, любящая душа! Нужно же было судьбе избрать именно его для такого испытания...»

Это, господа, присказка. Герой моей русской сказки будет, пожалуй, помудренее Тоде.

IV

Я только что выскочил в судебные следователи в про-

винциальный город, когда меня вызвали по делу о дерзком убийстве на самой окраине. Там стояла «Гостиница для приезжающих», — полутрактир, полувертеп, Маскотта местных полицейских. Здесь кутили приезжающие, сюда от центров уединялись обыватели, стыдившиеся открытого разврата. Каждый год здесь кого-нибудь увечили. Половина моих дел исходила отсюда.

Глухой ночью были убиты содержатель гостиницы, старый еврей, и его подросток-сын, — убиты нагло, во время молитвы, в вечер шабаша, при зажженном семисвечнике, и мозг старого жида забрызгал листы разогнутой священной книги. Сын, очевидно, вбежал на крик и, очевидно, пал вторым.

Я был молод и не знал, как подступиться. Все, присосавшееся к гостинице и кормившееся от нее, вдруг разбежалось. Было невероятно трудно разобраться в этой куче нужной и ненужной лжи и записательств. Все это кричало наперерыв, и всем было ясно при взгляде на мое безусое лицо, что я совершенно растерялся.

Одна трагикомическая подробность запомнилась мне за этот двухдневный допрос. Среди толпы суетился молодой, черный, как жук, мужичонка с внимательными цыганскими глазами. Убийство занимало его, видимо, больше всех нас. Как рыжий клоун в цирке, он суетился под ногами, всюду совал нос, — в комнаты убитых, в наши бумаги, в инструменты фельдшера. Он был рад, как мальчишка рад покойнику, которого хоронят с музыкой. Он ахал, охал и косолапыми словами говорил, как беспощадно надо покарать негодяев.

У меня был опытный письмоводитель, умный пройдоха, пропивший свою жизнь.

— Я вам советую его арестовать, — посоветовал он мне. — Он подозрителен.

— Почему?

— Я вам не могу сказать, почему; но возможно, что убийца — он. Иногда берешь не рассудком, а инстинктом.

— Правосудие не руководствуется ощущениями, — сказал я. — Следствие знает только факты.

Мужичонку арестовали, но подозрение было нелепо. Он был чужой, с ближней улицы, пустой, нехозяйственный мужик, весь ясный, как день. Его выпустили через три-четыре дня. Я показал ему на письмоводителя и засмеялся:

— Моли Бога, что следователь я, а не он. Он бы тебя закатал!..

Он закивал головой, затряс гривой. Я посмотрел в его глаза. Они были разноцветные, — редкий случай аномалии, которую медицина именует анизокорией.

V

Убийству прошла, пожалуй, двадцатилетняя давность. Я устал, мне надоели разъезды. Я предпочел перебраться в другой город, быть там вторым, но пользоваться покоем. Так я прожил не один год.

В провинции сразу замечаешь новое лицо. И вот однажды, на прогулке, я заметил странную фигуру. Это был великолепный экземпляр живописного нищего, точно из романа Гюго или Диккенса. Стояла зима, но он шел по снегу босой, в рубище, точно подпрыгивая легкими маленькими ногами.

Не было шапки на голове, и ветер буйно взметал его запущенные длинные волосы, уже хваченные неровной сединой. Лицо заросло густым черным волосом, и на этом фоне горели экстатические больные цыганские глаза. С него можно было писать библейского пророка или юродивого, стоящего перед Грозным с куском сырого мяса.

Оказывалось, этот полунищий-полуюродивый поселился именно на моем дворе, у горбатого бочара, сдававшего углы. Но в своем углу он, собственно, не жил, и никакого имущества там не держал, ибо его не было. Была у него только большая ветхая Псалтирь, и каждый день с утра выходил он на площадь против моего дома, становился у реки коленями на снежную землю, закладывал камнями от ветра страницы книги и начинал над ней монотонное бор-



мотанье. Так стоял он от утра до вечера, то здесь на реке, под засохшей рябиной, то в узком соседнем переулке.

Он был похож на профессионала-нищего, но ни у кого он ничего не просил. Доброхоты бросали ему медь в разогнутую книгу, он принимал ее и ронял: «Спаси, Господи». Но говорили, будто эти гроши он раздает нищим.

Раз, проходя, я бросил ему двугривенный. В ушах свистел ветер, с неба падало что-то холодное и мокрое, — мне вдруг стал жалок этот старик, тело которого, вероятно, ломал жестокий ревматизм.

В свое окно я потом долго смотрел на маньяка. Никто не прошел после меня. Вот он встал, согнул книгу, положил ее под мышку, выждал нищую и сунул ей монету. Вот какое назначение он придумал для моей лепты!

VI

Русское странничество, это, господа, может быть, самое неразгаданное явление нашей жизни. Когда-нибудь придет

новый Достоевский и откроет эту таинственную книгу за семью печатями и зальет ее всю слезами.

Корни этой тайны в ужасах русской деревни с младенцами, разбитыми об печку, с замытаренными женщинами. Его ветви упираются в монастырь, в Сахалин, в каторгу, в искупительный град Иерусалим. Кто скажет, какая сила греха выгнала на большие дороги весь этот бродячий люд с котомками и посохом, и обрекла на вечный подвиг холода, голода и оплевания? Кто сосчитает, скольких эта дорожка спасла от намыленной петли в холодном овине?

Может быть, много тут и доброго русского идеализма, но не удивитесь, господа, если бывший следователь хочет прочитать па лице каждого бродячего старца повесть о затерявшемся преступлении...

Наш городок сразу привык к босоному нищему и принял его, как должное. Простонародье смотрело на него, как на юродивого и божьего человека. Каждый день я видел его на своем пути, и не раз ловил на себе его тяжелый, словно бы выжидающий взгляд. Мне иногда казалось, что он ждал меня в переулке, что он хочет заговорить со мной. Раз я спросил его, глядя на его босые, посиневшие ноги:

— Что, старик, холодно?

Он подхватил, словно обрадовавшись:

— Под ногами лед, под сердцем утливо! Ух, горячо окаянному!

— А как тебя зовут, старик?

— Мирон, да не мирен.

Он пошел за мной, неслышно ступая по талому снегу. Я слышал его дыхание, как дыхание загнанного коня.

— Не узнал меня, законный человек?

— Не узнал.

— Не врешь ли?

— А зачем бы мне врать?

— А я тебя помню. Хочу к тебе в гости приттить. Ты меня от Сибири спас. Мирона Клестова забыл?

Я стал спрашивать. Он несвязно рассказывал, как бредящий, но я понял, что речь — о том, забытом случае на городской окраине! Это был тот мужичонка, арестованный

и отпущенный. Одно из первых трудных дел, та история об убитом жиде крепко засела в памяти. Я поднял глаза на странника, — на меня смотрели незабываемые разноцветные глаза.

Клестов дал мне вспомнить все это и вдруг понес чепуху. Замелькали какие-то библейские отрывки, разорванные клочья молитвенных слов. Было ли это искусство или действительный бред больного,— я не мог понять, как вдруг старик выпрямился, поднял руки к небу и, похожий на большую черную птицу, прокричал:

— Мужа убих в язву мне и юношу в струп мне! Если за Каина отмстится в семь раз, — за Ламеха — в семьдесят семь!..

VII

В тот вечер я рассказывал домашним про босоногого Мирона и убийство старого еврея. Странные слова о Каине сидели у меня в голове. Как-то совсем без труда я нашел их в первых главах Библии. Загадочны были для меня и там слова загадочного Ламеха. В устах Клестова они были понятнее.

— Этот божий человек — убийца, — сказал я. — В этом вы мне поверьте. Я — старый волк, и кое-что понимаю в людях.

— Тогда твое дело его уличить!

— Помилуйте! С той поры двадцать раз застывали реки. Старые дела в синих обертках давно съедены мышами. Со сланные успели умереть в Сибири...

— Ты клеветешь на святого, — обиделась жена. — Твоя профессия ужасна!..

Я больше не вступал в разговоры с Клестовым. Раз в переулке он снова кинул мне в след:

— Я к тебе приду! Пеки блины, законный человек!..

VIII

Другой раз мне сказали, что он, в самом деле, приходил ко мне в часы приема свидетелей. Но посидел на крыльце и ушел. Теперь мне странно, что мой интерес к нему был тогда так ничтожен.

Дальше он на время исчез с моего горизонта. Еще дальше мне сказали, что старый босомыга-ниций умер и, умирая, очень хотел меня видеть. И вставал с ложа своего, чтобы ко мне пойти, но уже не мог. Тогда наказал он отослать мне свою Псалтирь, и ее через несколько дней, подлинно, принес мне горбатый бочар.

Книга была ветхая, дряхлая, с рассыпавшимися пожелтевшими листами, закапанными воском. Лежала она и на сырой земле, и на тающем льде, и шел от нее нестерпимый запах прелого и сырого жилого угла. Я взглянул на нее и сбросил в угол старья. Оттуда ее взяла старая нянька на кухню, а от нее пошла она по всему двору: «Книга эта святая, и омыли ее слезы праведничьи».

Так и узнал я, господа, последним то, что должен был узнать первым. Кто-то из дворни сидел над Псалтирью и заметил, что некоторые начальные буквы псалмов обведены густым чернильным ободком на манер киноварных букв в Евангелии.

Было это не на каждой странице, и довольно естественно читавшему пришла мысль попытаться связать буквы, перелистывая книгу. Вышло складное слово, а за ним святая книга, как черным по белому, отпечатала:

— *Помяни, Господи, раба Твоего Мирона и зле убиенных им мужа и юношу.*

Тут уж оставалось только ахнуть и бежать с этой книгой ко мне...

IX

Пояснять тут, господа, как видите, нечего, а подумать есть о чем.

То, что эта душа отвергла человеческий суд, — так просто и так понятно. Этого дешевого искупления она не приняла, но доброхотно подняла на себя кару, горшную Сибири и каторги в семьдесят семь раз и равную муке адовой, да еще в одиночку. Может быть, господа, в таком же роде цветочками на родной могилке пытал себя и Тим Тоде, ибо нетрудно исповедаться — вот я какой! — и стать со злодеями, а труднее свою казнь в себе носить и чуть не святым казаться.

И не та жена нестерпимую муку несет, что, изменив мужу своему, покаялась, а та, что былую измену свою, как жабу, под сердцем носит, а мужу улыбается светлой улыбкой.

А вот зачем он к следователю на двор пришел и хартию обвинения своего при себе вечно носил, — это не так просто. Думаю только, что всего меньше здесь было озорства и охальства и всего меньше пугал он себя человеческим судом. Вернее, господа, и это было одним из видов злой его самопытки и средством для поддержания вечной метели в смятенной и сокрушенной душе. В этой попытке еще можно было жить, — без нее надо было совать голову в петлю...

КТО ОН?

I

Еще минута и вместо того, чтобы вскочить с своим чемоданом в вагон, Сиркс увидел бы только хвост уходящего поезда.

Можно быть профессором белой и черной, египетской и индийской магии, престижитатором и чревоушателем, пускать пыль в глаза и голубей из рукава, — но не уметь исправить дрянных отставших часов и быть бедным, как Диоген. Сиркс мог утешать себя разве тем, что фавматурги всех времен и народов отличались крайней умеренностью. Вероятно, они так же, как и он, всегда ездили третьим классом, когда не удавалось проехать зайцем, и обедали через день.

Хотя до Рождества оставалось дня два, — а может быть, именно поэтому, — движение было слабое. За полтинник Сирксу предоставили место в спальном вагоне. Кто-то, повернувшись к нему спиной, возился в проходе между скамейками.

Фокусник бережно поставил наверх свой чемодан с фракком, сорочкой, афишами, десятком технических «приборов», руководством «производить 150 замечательных явлений» — и осмотрелся.

Электричество еще не было пущено. Горела свеча. Было темно. Устраивавшийся рядом человек повернул лицо к свету, и Сиркс почувствовал на себе холодный, колючий и любопытный взгляд.

Это был весь бритый мелкий человек, черный, как жук, с широким и тяжелым подбородком. Немножко раскосые глаза смотрели недоброжелательно. В выдавшихся скулах и этой неприветливости выражения было что-то неинтеллигентное, мещанское...

II

Сиркс писался на афишах физиономистом, чтецом мыслей и хиромантом. Присматриваясь к толпе, он часто наблюдал в себе какое-то интуитивное, безотчетное угадывание людей, их положений, характеров. «Вы, вероятно, рыбак?» — и, к его собственному удивлению, человек оказывался, действительно, рыбаком. Почему? От него не пахло рыбой. К его одежде не пристала чешуя. Но так случилось. И часто.

Сейчас в незнакомце было что-то, отличающее людей сцены. Вернее всего, какой-нибудь мелкий актер. Что-то надменное, заносчивое в складе губ. Что-то выдает человека, привыкшего, чтобы на него смотрели. А впрочем, черт его знает.

Однажды к Сирксу пришел человек и попросил определить род его занятий. Престижиджитатор прищурил глаз. В его деле апломб значил все. «Вы, вероятно, имеете свой магазин... И даже скажу вам, что это, вероятно, магазин аптекарский»...

Владелец магазина оказался... репортером местной газеты. Он вышутил в хронике заезжего физиономиста и испортил ему все дело. Не окупилась даже афиша. Но сам знаменитый Лафатер из Цюриха разве не наградил однажды всеми добродетелями каторжанина-убийцу, присужденного к казни?

Сиркс утешил себя, но с этих пор стал осторожнее и налег на глотание шпаги и чревовещание.

III

Сосед снял пальто с барашковым воротником, развязал узелок, достал из него колбасу и, не разрезая ее, отгрыз от нее половину, прикусывая булку.

«Может быть, сценариус, суфлер, кассир, — поправил себя Сиркс. — Провинциальным модисткам выдает себя за обеднявшего премьера. “Играл первые роли, но — видите — сакраменто! — какие времена!” Неопрятен. Живет без женщины. Берет в долг без отдачи...»

Вкусный чесночный запах раздражал обоняние фокусника, поевшего только утром. В молчании и потемках тоска голодного желудка словно бы была ощутительнее, и Сиркс решил заговорить. Когда сосед кончил есть, опустил верхнюю скамью и приспособил ее для ночевки, фокусник уронил:

— Раненько собираетесь.

— Чего-с?

— Спать-то, говорю, рано. Всю ночь едете?

— Всю ночь.

— Как и я, значит. А куда путь держите?

Незнакомец усмехнулся и показал съеденные зубы.

— Отсюда не видать.

— А я в Белосток, — откровенно сказал Сиркс, как человек, которому нечего прятаться и который хочет вызвать и другого на искренность. — Я фокусник, и фамилия моя Сиркс. Ксаверий Сиркс. Чем город больше, тем в нем легче погибнуть маленькому человеку. В столице я захудал, как мышь в костеле. Кормился в день на один злот. Пришлось продать и зеркала и электрическую машинку. Вы знаете, без зеркал и машинки — это уже не фокусник. Это — мразь! Без этого нельзя показать ни золотого дождя Юпитера, ни северного сияния, ни светящегося дыхания, ни электрического паука. Это не фокусник, а бродящая собака или бродящий пес, — как правильнее сказать по-русски? Проглотить шпагу или вставить гвоздь в нос — это стоит очень дешево. Этим заинтересуешь только штабных писарей. Я — вантрилок, но этим можно завлечь только гимназистов первого класса.

— Как вы сказали?

IV

Престиджитатор показал пальцем на свой живот.

— Вантрилок. Чревовещатель. Я могу говорить животом. («Он неинтеллигентен», — заключил он). Я также читаю мысли. Но от всего этого я получаю совсем ничтожный интерес! Когда я в последний раз спросил у моего антрепренера в саде «Магометов рай» денег за два воскресенья, он мне сказал: «Вы плохо читаете мысли, если думаете, что у меня есть деньги». И он мне выворотил карман с дырой. Карман с дырой у него был на случай и тогда, когда он греб золото, как шинкарь на Пасхе.

— И вы, действительно, угадываете мысли?

— Да, я могу.

— И мои можете?

Острые, как два стальных шила, глаза незнакомца остановились на Сирксе почти с беспокойством. Фокусник опустил взгляд и скромно сказал:

— Да, если я захочу.

— То есть, если и я захочу?

— Нет, это не важно. Независимо от вашего желания, я могу прочесть ваши мысли, сказать, сколько у вас денег в кошельке, по чертам вашей руки определить ваше прошедшее, настоящее и будущее, все замечательнейшие события вашей жизни...

— Сколько же у меня в кошельке денег?

— Сейчас немного. На днях будет больше. Но все-таки есть настолько, чтобы оплатить мой сеанс.

— Значит, то, для чего я еду...

— Будьте покойны. Не сорвется.

Фокусник исподлобья взглянул на соседа внимательным и умным взглядом, как всегда смотрел, когда предсказывал или «читал мысли», и выразительно подчеркнул последнее слово. Под его ответом незнакомец вдруг совершенно явственно подался назад, в тень скамейки, и его лицо приняло несомненное выражение огорошенности, почти испуга.

Будто не замечая этого смущения, а на самом деле стараясь не разрушить впечатления новыми расспросами, Сиркс поднялся, вынул папиросу и вышел на площадку. «Клюнуло!»

V

Когда он вернулся, маленький человек уже забрался на верхнюю скамейку и лежал там, закрывшись пальто. На электрическую лампочку был надвинут коленкоровый чехол.

— Спите?

— Ну, где же так скоро!

— Знаете, рядом с нами в купе едут жандармы, — растерянно сказал Сиркс. — Даю вам честное слово. Двое жандармов. Честное слово поляка!..

— Верно, с дела домой едут, — безразлично сказал сосед. — А знаете, я тут лежу и думаю. Хорошо чужие мысли читать. Про что кондуктор думает, жандарм, студент, интитутка. Лучшего своего друга можно поймать. Преступник, который злоумышляющий. Сидит с вами в трактире, чай пьет, орган слушает... Все честь-честью, а вы его наскрозь видите. Госпожу Скублинскую изволите знать?

— Скублинскую?

— Которая устроила, ежели не спутал, в Варшаве фабрику ангелов. Прелюбопытный тип уголовной преступности. Во всех музеях Европы и заграницы показывается. Восковая фигура во всей правдоподобности. Смотрел я в Вильне и удивлялся. Можете себе представить, — женщина как женщина, а какой преподлый характер!.. Кабы ежели кто угадал вовремя, чем она занимается!..

VI

Похожий на жука человек вдруг как-то всхлипнул, и

Сиркс только через минуту догадался, что он смеется.

— Вы извините, господин, но я вам не верю, будто вы мысли читаете. Не может такого быть. Уж очень чудно. Вы мне одну такую штуку сказали, что я и рот разинул. Только это, может, больше от воображения моего ума. («Что я такое сказал ему?» — подумал Сиркс). Больно бы уж вы удивились, ежели бы узнали мои мысли. Да и зачем вам тогда в Белосток ехать, ежели бы вас в государственную службу на тысячный оклад взяли в обер-сыщики? Однако любопытен был бы, чтобы вы мне на руку взглянули.

— Если вы находите, что это стоит полтинника, — сказал Сиркс, — слезайте.

Незнакомец свесил ноги и соскочил сверху грузно и неуклюже. Слезая, он свалил шапку фокусника со столика и поднял ее, странно согнувшись в пояснице и не сгибая груди, как сделал бы это человек, имеющий в груди рану или проглотивший шпагу.

— Пшепрашам пана, — засмеялся он, видимо, щеголяя единственным известным ему польским словом.

«Сказать ему, что он в панцире, или лучше не говорить?» — подумал фокусник.

Эта подробность и жандармы по соседству не оставляли теперь в его душе никакого сомнения, что рядом с ним едет шпион.

VII

— Прибавим света, — сказал Сиркс, дергая шнур и раздвигая абажур. — Вы родились ночью? Так. Тогда не эту. Левую. Согните здесь. Распрямите пальцы. Средневековые хироманты требовали, чтобы человек, приступающий к гаданию, не ел четыре часа до сеанса.

Как всегда, не без противного чувства он прикоснулся к этой чужой, неопрятной и влажной руке, столько же понимаемая в ней, сколько и в своей собственной. Рука была грубая и жилистая, неинтеллигентная, с трауром за ногтями,

но без мозолей, и в ней не было сейчас, как бывало у большинства клиентов, ни малейшей нервной дрожи.

— На вашем деле не наживешь мозолей, — уронил фокусник больше как бы для себя и почти зло и язвительно.

По лицу бритого человека скользнула точно улыбка самодовольства.

— Дело нетрудное-с.

— И привычное.

— Не впервой.

— У вас решительный и твердый характер, — продолжал Сиркс, входя в привычную роль угадчика наобум и не улавливая в руке нервности. — Не поддакивайте мне. Это мне не нужно. Один раз вы не то тонули, не то были смертельно больны... Прерванная линия жизни... Определяется млечный путь... Покажите правую...

Сиркс знал, что редкий из людей не был смертельно болен, редкий не тонул, и это был один из тех первых способов хватать внимание, которые потом заставляли его клиентов самих подсказывать ему нужное.

Впутывая для эффекта термины вроде «Соломонова пояса» и «Венерина запястья», вычитанные из плохой лубочной книжонки о хиромантии, Сиркс стал говорить о том, что ему нужно бояться под старость слепоты на левый глаз, влияний луны, бешеной собаки, — те вещи, которые всегда ни к чему не обязывали, но слагали впечатление.

Вспомнив жандармов и панцирь, он уверенно ткнул в ладонь спутника пальцем и сказал внушительно:

VIII

— Вы едете по одному делу, требующему большой осторожности.

— Смелым Бог владеет.

— Прошу не перебивать. Вы несколько волнуетесь. Но вам нечего бояться. Вы сейчас под счастливыми созвездиями. И хотя ваши враги не дремлют, им ничего не удастся.

Лицо клиента оживилось и стало наивным и доверчивым.

— Не удастся? А ну-ка, ну-ка, от чего я помру? Своей смертью, али как иначе?

— На вашей руке есть роковые знаки, — уклончиво сказал Сиркс. — Ваш Сатурн изломан. Но, во всяком случае, вам нечего бояться до 43 лет. Нет, до 44-х!..

— Хватит. Ворона двести лет живет, да сокол ей не завидует.

— Дело ваше вам удастся... Но вот... этот крест. Хотел бы я знать, действительно ли оно удалось вам. Знаете, некоторых из моих клиентов я просил извещать меня, и они писали мне письма. Бывали поразительные предсказания...

— Хотите, я вам пришлю открыточку... С видом распрекрасного города Варшавы... Ежели, как вы сказали, *не сорвется*...

— Много обяжете. Знаете, хиромант век живет, век учится. Мое имя — Сиркс. Ксаверий Сиркс. Но надо писать: «В Белосток, Игнатию Сирксу»... Это мой брат. У него прачечное заведение.

— А меня зовут Фома Качурин.

Он полез в карман, вынул засаленный кошелек и стал искать полтинник.

— Станция Псков! — сказал в дверь кондуктор.

IX

Фокусник вышел на станцию, выпил рюмку водки, и настроение его изменилось к лучшему. Когда он вошел в купе, Качурин лежал, закрывшись пальто. Сиркс что-то сказал, — спутник не ответил. Престижитатор снял сапоги, положил под голову шапку и сразу заснул.

Проснулся он среди ночи. Поезд, весь содрогнувшись и загредев, стал и стоял что-то очень долго. Не надевая сапог, Сиркс поднялся взглянуть, где остановка. Качурин спал и похрапывал.

Хиромант взглянул в окно, но увидел только черную ночь и пятно своей щеки на фоне черного зеркала. Он кинул взгляд на лицо спутника и вздрогнул от неожиданности. Из-под накинутого на голову пальто на него смотрел стальной, внимательный, напряженный до тревоги глаз Качурина.

«Не спит, дьявол. Привык шпионить. Храпит, а смотрит!» — подумал фокусник, снова укладываясь спать и чувствуя сотрясение движущегося дальше поезда.

...Утром его разбудил кондуктор. Подъезжали к Белостоку. Качурина не было. Выйдя из купе уже с чемоданом, Сиркс увидел его у дверей соседнего купе. Качурин стоял без пальто, но в шапке, и разговаривал с жандармами.

— Господину чревоуещателю! — сказал он, протягивая Сирксу руку. — Гут морген. А я тут, покуда вы спали, знакомство свел. Им тоже до Варшавы. Вот вы — колдун, а не угадали. А открыточки ждите, — пришлю.

— Дзенькуем.

Х

Первый день по приезде Сиркс метался по городу, как всадник без головы. Он сбросил чемодан у брата и весь отдался делу. Надо было схлопотать право на представление, на расклейку афиш, из полиции бежать в типографию, из типографии — в редакцию, снимать помещение и всюду поспевать прежде, чем пред его носом закроют двери на праздник.

Время было такое, что всюду требовали удостоверений его благонадежности, и никто не хотел верить, что он заплатит за заказ. Голова престижджигатора шла кругом.

Только ко второму дню праздника ему удалось угодиться. Все было сделано. На третий день в здании местного клуба он должен был являть свое искусство. Билеты, сверх ожидания, раскупались. Широковещательные афиши сделали свое дело. Даже местная газета не отказала в пуб-

ликации в кредит. Сиркс почти на коленях выпросил эту милость.

Вечером можно было вытянуть ноги и отдохнуть в предвкушении благ. В родственной обстановке, в сытости и тепле, Сиркс расположился на диване и занялся местной газеткой, изучая нравы.

С приятным удовлетворением он перечел несколько раз публикацию, где его имя было набрано жирным шрифтом и он титуловался «профессором магии». На видном месте в хронике газеты стоял заголовок: «Казни». Сиркс начал читать заметку полуапатично и, когда дошел до ее конца, его руки опустились от неожиданности и какого-то другого сложного чувства.

В заметке стояло:

«Вчера в предместье Варшавы приведен в исполнение смертный приговор над NN. Среди арестантов местной тюрьмы не нашлось ни одного, кто бы решился явиться исполнителем казни через повешение. Палач был вызван из другого города. Это — бывший каторжанин, Фома Качурин, в последний год содержавшийся в X-ской тюрьме. Качурин совершает казнь уже над пятым осужденным. Он прибыл в Варшаву инкогнито и под охраной, так как товарищами по тюрьмам давно присужден к убийству. По совершении казни и получении платы, палач одел пальто казенного и в тот же день отбыл из города».

Сиркс отбросил газету и поймал себя на инстинктивном желании вымыть руки...

Через день он получил открытку. На ней стояли только два слова и подпись:

«*He сорвался. Фома Качурин*».

ГОМУНКУЛ

(Рождественский рассказ)

I

— Вы видите перед собой человека, который, так или иначе, был однажды прикосновенен к делу рождения Гомункула.

— Ах, это должно быть очень интересно, — сказала дама с мечтательными глазами.

— Это очень страшно, профессор? — спросила другая.

— Это не очень неприлично? — обеспокоилась третья.

— Я бы попросила предварительно объяснить мне, кто это Гомункул, — сказала четвертая, очень хорошенькая, но довольно глупенькая.

Дамы всегда говорят вчетвером, если их в комнате не больше четырех, и для светских людей нет большой трудности ответить им всем сразу.

— Это интересно, — сказал профессор. — Это не дальше от страшного, чем от смешного, и не более неприлично, чем современная беллетристика. Впрочем, это хорошо, что все здесь присутствующие замужем. Что же касается Гомункула, то для интеллигентного человека обязательно знать только то, что такого химического человечка создает доктор Вагнер в реторте во второй части «Фауста», — есть такая поэма, mesdames.

II

— Видите ли, сударыни. В средние века думали, что человека возможно создать еще и путем кристаллизации, и

над этим ломали головы тогдашние химики и врачи, которым казалось мало обычного способа появления на свет.

Штопая дырки мироздания, они хотели поправить и эту маленькую ошибку природы.

Знаменитый Парацельс, о котором вы, вероятно, слышали...

— Да, я читала его сочинения! — невпопад сказала хорошенькая, но глупенькая дама.

— О, я не предполагал, что вы так хорошо владеете латынью!.. Так вот, знаменитый Парацельс исследовал этот вопрос в своей книге «О происхождении вещей» и раз чуть не отравил насмерть своего ученика, понюхавшего паров из реторты. Парацельс мечтал найти Архей, — жизненную силу, поддерживающую бытие всего животного. Ему казалось, что надо так соединить серу, соль и ртути, чтобы создалась жизненная теплота.

III

— Какая чепуха! — сказала одна дама. — Это глупо, как святочный рассказ.

— И что же, вы в наш век повторили опыт Парацельса? — спросила другая.

— И вам это удалось, профессор?

И серые глазки хорошенькой дамы стали большими.

— Мы делали это несколько иначе, — отвечал рассказчик, на этот раз только троим. — В какой мере нам это удалось — вы увидите. Что же касается до чепухи, то по тому младенческому времени это было простительно.

Видите ли, человечеству искони была свойственна вера в особое самобытное рождение.

Платон оставил изречение, что живое рождается от смерти. Аристотель думал, что насекомые рождаются сами.

Плутарх уверял, что земля Египта рождает крыс. Еще в XVII веке Кирхер доказывал, что из сушеной и истолчен-

ной змеи выйдут после дождя мелкие змейки, если этот порошок посеять в землю.

— Кажется, что это будет что-то очень умное, и я ничего не пойму, — улыбнулась себе хорошенькая, но глупенькая дама, закрыла глаза и сказала: — Какой вы умный!..

— Я не думаю, что не поймете, — утешил профессор. — И вот точно так же думали о человеке. В сущности, *mesdames*, мечта современной науки очень близка к этой мечте о «философическом человеке». Современная наука мечтает создать искусственную человеческую клетку...

— Клетку? — с ужасом спросила хорошенькая дама.

IV

— Да, сударыня, не пугайтесь, — человеческую клетку, ту первичную основу тела, из которой создается организм. Найти секрет клетки значит найти секрет бессмертия.

Заболевшие, одряхлевшие, умершие клетки мы заменяли бы в себе новыми и новыми.

Солдату, у которого выхватило бы бомбой бок, вставляли бы новый кусок мяса, и он продолжал бы отбывать второй срок повинности.

Что для вас не совсем безразлично, *mesdames*, был бы вместе с тем найден секрет вечной молодости, и дамы были бы прекрасны, пережив сто тридцать пятую весну.

Четыре слушательницы вздрогнули и наострили ушки.

— К великому сожалению, наука до сих пор не может ни подделать клетки, ни создать хоть одну каплю крови, отлично зная, сколько в нее идет белковины, фосфора, поваренной соли или железа.

Из человеческого железа можно сделать брелок. Но из железа, соли и пр. до сих пор не удалось никому создать каплю крови.

— Как брелок? — воскликнули дамы все вчетвером. — Вы шутите, профессор!

— Ничуть. История знает случай, когда один парижский студент задался целью подарить невесте колечко из собственной крови. Через известные промежутки он делал себе кровопускания и химически выделял железо из крови. Конечно, он истощил себя и умер.

— Вот такую любовь я понимаю! — сказала мечтательная дама и улыбнулась хорошенькой.

V

— Я был студентом. У меня был друг. Мы жили в одной улице, но в разных домах.

Это был именно из тех людей, которые для вящей славы науки готовы выковать кольцо из собственной крови, — удивительный фантазер, странно совмещавший в себе научность с мистикой.

Ему надо было родиться в эпоху Раймонда Люлля или Парацельса. В науке он был фанатик, но над всеми его исканиями веяло странной для ученого мечтой случайно подсмотреть и поймать какую-то тайну природы.

Он менял увлечения, как Дон Жуан — женщин.

То он носится с цветной фотографией, то варит и кипятит в своих кастрюльках состав из белковины, фосфора и железа, которым бы можно было заменить обеды и ужины, то пробует на плешивой голове гуляки-сапожника свои составы для ращения волос.

VI

Руки у него были вечно обожжены кислотами, жилет — в цветных пятнах. В своей студенческой компании мы его не звали иначе, как Менделеевым. И для многих он был притчей во языцех.

— Будет тебе, — говорим, — стряпать, пойдём пиво пить. Малый ты ещё мальчик-несмышленочек, — где тебе порох выдумать? Да и надо же что-нибудь оставить Виrhовым и Павловым.

А он в ответ огрызается:

— А кто, — спрашивает, — открыл семенные тельца человека? Не студент ли Гам из Лейдена? А то, а это?..

И заведёт такой монолог, что, бывало, махнешь на него рукой и идёшь по своим делам, оставив его с его «услужажоющей», разбитной хохлушкой Христей, которая была у него и за повара, и за портниху, и за горничную.

VII

Раз в думной голове нашего Менделеева засела мысль о Гомункуле. Разумеется, не в той детской форме алхимиков, что вот, мол, что-то надо смешать и встряхнуть в баночке, — и выйдет жив человек, а в форме мечты о создании искусственной клетки.

Показывает он мне однажды какую-то старую рукопись и говорит:

— Прочитай.

Читаю:

«Для рождения философического человека возьми колбу из лучшего стекла, положи в оную чистой майской росы, в полнолуние собранной, две части мужской крови и три — женской, потом поставь оное стекло с сею материею сохранно на два месяца для гниения в умеренную теплоту, и тогда на дне оногo ссядется красная земля...

По времени процеди сей менструм в чистую колбу, возьми одну грань тинктуры из царства животных и поставь сие паки в умеренную теплоту на месяц. Тогда подыметя кверху пузырьек. Когда же покажутся жилки, влей туда твоего процеженного менструма, и тако твори четыре месяца. Услышав нечто шипящее и свистящее в колбе, подойди к

ней и, в велией радости и удивлении, увидишь тамо живую тварь».

VIII

— Что ты, — спрашивает, — на это скажешь?

— Посрамил парижскую академию!

— Видишь ли, — говорит. — При буквальном понимании это, конечно, зеленая чепуха, но не есть ли это обычное для алхимиков иносказание об искусственной клетке, которая, может быть, была известна древним, как, например, было известно розенкрейцерам применение электричества до его официального открытия? Может быть, надо только расшифровать, что надо разуместь под тинктурой царства животных или под майской росой, чтобы создать клетку. Ты понимаешь, — клетку! Милый мой, ведь это перевернет оба полушария!

— Правильно, — говорю, — перевернет. Только полушарий твоего мозга и перевертывать не надо. Перевернуть!

— Человечеству, — продолжает, — всегда была свойственна эта вера. Может быть, Гомункул — аллегория, маска. Вон я вчера с Христей разговорился. Есть народное сказание о гусином выродке. Нужно, — говорит, — девке семь недель носить под мышкой гусиное яйцо, и родится из него подобие человека.

Вознес я над ним благословляющие руки, как отшельник в опере, и говорю:

— Действуй, Андрюшка Менделеев! А как родишь, зови меня в крестные...

IX

Думал я, конечно, что через неделю этой блажи конец,

— ошибся. Захватило его крепко. Сидит день и ночь в своей норе, возится с микроскопом, анализирует бычью кровь, кипит в склянках какую-то дрянь.

— Что, — смеюсь, — еще не шипит? Жилки не пошли?

— Смейся, — отвечает. — Ты не один. Над громоотводом Франклина смеялось лондонское королевское общество. Парижская академия вышутила телеграф. Ты — в почтенной компании.

...Была зимняя ночь, mesdames, — одна из тех, за которые дорого дал бы рождественский беллетрист.

Ветер вздыхал в трубе, как приговоренный к повешению.

На башне Сульпиция пробило 12.

Я сидел у себя, когда за мной прибежал запыхавшийся дворницкий парнишка моего друга.

Запиской он звал меня немедленно к нему по неотложному делу, прося захватить с собой денег.

— В чем дело?

— Не могу знать. Только как будто у барина несчастье. Кто-то у его кричит, — надо быть, помирает...

Х

Мела метелица, и снег плевал прямо в лицо. Огонь в фонарях шатался, как пьяный. Кутаясь в плед, я перебежал улицу.

Конечно, больше всего я склонен был догадываться, что Андрей «сделал что-нибудь над собой», порезался и истекает кровью или отравился каким-нибудь кислотным паром.

Это было так просто и возможно, но, должен сознаться, напращивались и дикие предположения. Не то что бы я мог поверить в рождение Гомункула, но невольно думалось, что если в самом деле сейчас там, в тесной мансарде, под низким потолком подле Христиной кухоньки, совершилось одно из мировых открытий!..

Я влетел на четвертый этаж бомбой. Дверь была не за-

перта. В квартире стояла тишина. Андрей встретил меня бледный, с волосами, прилипшими ко лбу.

— Слава Богу! — сказал он, стараясь улыбнуться. — Все кончилось благополучно. Мальчик. Ну, и была ж история.

— Ты с ума сошел! — воскликнул я. И я это действительно думал, mesdames. — Родился Гомункул?

— Какой Гомункул? Я ж тебе говорю, — мальчик. У Христи мальчик. Ты понимаешь русский язык? Ей было преждевременно, но она поскользнулась, идя в погреб, и ускорила...

XI

Тут уж судите меня — не судите, но, невзирая на всю торжественность момента, я расхохотался, как оглашенный.

В то время, как он трудился над химическим Гомункулом, жизнь, здоровая, прямая и животво-откровенная, сшутила над новым Вагнером-книгоедом одну из своих добродушных, не без цинического оттенка, шуток!.. И как просто и метко!

Христя оказывалась для него немножко больше портного, повара и горничной и немножко меньше жены.

Потом, конечно, mesdames, я узнал все.

Почему он не посвятил меня раньше в свой роман? Знаете, молодость застенчива, а ему приходилось быть отцом в первый раз, да с непривычки.

Христя же этот маленький секрет так мастерски умела прятать платочком, что неопытному человеку не подавала и повода.

Я кончил.

Три дамы были явно разочарованы, а мечтательная вздохнула и уронила:

— В конце концов, все мужчины одинаковы...

ДОСУТИ САТАНЫ



сли я могу сказать, что я всю свою жизнь стремился к таинственному, то должен прибавить, что оно, в свою очередь, всю жизнь бежало от меня. Бежало во все лопатки.

Нужно быть немножко философом, чтобы понять, что, если мы пугаемся призраков, то совершенно так же призраки должны пугаться нас. У нас взаимная антипатия.

Когда я оглядываюсь назад, я вижу немало вычеркнутых вечеров, славных темных ночей, убитых на погоню за привидениями, точно так же бесплодно и бессмысленно, как если бы я проиграл их в карты. За все это время я видел очень мало духов и очень много жуликов.

Я принял столько телеграмм с того света при помощи стучащих столов, сколько их проходит перед телеграфистом хорошей станции в Новый год. Из них я сделал только

один вывод, — первейшие умы и таланты значительно глупеют, переходя в мир теней. Умные люди на земле, они, обыкновенно, диктуют через медиумов сплошные глупости. Я пришел к отчаянному выводу, когда Пушкин, — сам Пушкин! — продиктовал нам два стиха и оба с хромящими стопами.

Десятки вечеров, сотни новых лиц, новых столиков, новых обстановок! Но к какому неказистому шаблону сводятся все эти сеансы! Их, может быть, было сто три. Не пугайтесь, — я хочу рассказать только о трех.

I

...Она была очень почтенная и почти высокопоставленная дама. Когда она потеряла мужа, полного генерала, она стала религиозна, как монахиня.

Я встретил ее в одном чопорном и чинном доме аристократической складки. Это был совсем не мой круг. Тут собирались важные консервативные генералы, необыкновенно почтенные матроны со следами былой красоты, в траурных платьях и с какими-то внушительными старомодными наколками на голове.

Победоносцева, Игнатьева, Плеве здесь звали не иначе, как по имени и отчеству. Реакционный публицист, известный всей России, вещал здесь, как оракул, попивая крепкий чай с великолепным медом, и на него звали, как зовут на пельмени или пирог. Я ходил сюда, как художники ходят на этюды.

Я имел честь с места понравиться генеральше. Тогда она увлекалась католицизмом, и целый час я выкладывал ей все, что знал о католиках и папе. Когда через несколько месяцев я встретил ее в другом доме, она была уже вся во власти спиритизма. Она так и ухватилась за меня обеими руками.

— Передо мной открылся новый мир,— восторженно заговорила она, сейчас же сама переводя сказанную фразу на французский, точно я был истый парижанин. — Скажите, это — не грех? Но ведь, представьте, митрополит Филарет интересовался спиритизмом, а ведь он был почти святой. Нет, вы непременно должны посидеть с нами. Вы почувствуете себя другим человеком!

Я успокоил ее насчет греха и спросил, в чем же дело.

II

— Нас целая группа, — пояснила она. — Все свои. Мои

ближайшие родные. Никому из нас нет смысла друг друга обманывать. Я и моя племянница оказались медиумами. Но вы не можете представить, какой силы! Я еще не могу сказать, у кого из нас больше. Но это — поразительно! Это — чудесно! Вообразите, к нам является дух юноши Владека, сына нашего управляющего именем. Я еще помню его, — такой худенький, странный, долгоносик, как-то загадочно утонул в колодце. А Элен его и в глаза не видала...

— Какая Элен?

— Элен — моя племянница. Вот вы увидите. Вы должны ее увидеть. Нет, нет не отговаривайтесь, что вам некогда, — на один вечер забудьте фельетоны... Один вечер, и вы станете другим человеком! Я хочу сделать из вас прозелита, — кажется, так говорится по-русски? Выбирайте сами день. Назначайте место. О, Владек является к нам везде! Нам не надо никаких приспособлений. Хотите завтра у Нащокиных? Мы завтра у них. Ведь вы бываете у Нащокиных? Мы теперь совсем, как гастролеры, — каждый день где-нибудь...

Мне было неудобно. Она предложила другой день, — тоже не устраивалось.

— Ну, хотите, мы приедем к вам? О, нам все равно! Нам не нужно машин, ширм или трюмо. Мы не профессионалы. Нам нужна только темная комната. Правда, Владек иногда бывает не в духе. Явления протекают необыкновенно бурно (она выразилась именно так, — «протекают»). Знаете, на днях в кабинете моего сына сорвалось со стены чучело ястреба и упало с такой силой, что свернуло клюв. Нужна только темная комната, пустые стены и маленькое настроение. О, Владеку это не надо, но пока мы люди в земном теле, мы — рабы этого тела.

— Я, кстати, живу около кладбища, — вставил я.

— Ах, это великолепно! — (Она перешла на французский.) — Итак, в пятницу мы у вас. Вы позволите мне взять с собой племянницу и сына? Вы, конечно, можете приглашать кого угодно. Я буду просить только об одном. Нужно, чтобы это были серьезные люди. Неверы портят. Правда, Владек мог бы переубедить Вольтера. Вы знаете, мой сын неверующий, но теперь и он сдается. Да, он еще сопротивляет-

ся, но он сдается. А все-таки лучше без скептиков.

III

К назначенному вечеру я весь проникся настроением. Из маленькой комнатки были предусмотрительно унесены все картины. Владек мог быть в бурном настроении и ударить кого-нибудь углом рамы по голове. Это тем неприятнее, чем неожиданнее.

Из комнаты были убраны ковры, на окнах наглухо спущены шторы.

Генеральша приехала с точностью хронометра. «Аккуратность — вежливость королей», — улыбнулась она на мой комплимент. Она привыкла быть деликатной с людьми и оставалась такой и с духами.

Приехала она, как архиерей, «со свитой». Следом за ней выступал серьезный пожилой господин с умными, усталыми глазами, — ее сын. Он точно немножко конфузился за свою мать. Он «неверующий», вспомнил я, и мне стала понятна его манера держаться.

Племянница была худенькая, высокая девушка, вовсе некрасивая, с прической Клео де Мерод. Генеральша, очевидно, стилизовала ее. Что-то больное было в ней, дурманное, что вызывало при взгляде на нее странные цветки и ягоды белены, на какие иногда натыкаешься, бродя по лесу.

Белое, бледное лицо оттенялось черными прядями прямых волос, и глубоко были вставлены большие, черные, но точно больные глаза. Она что-то сказала и голос у нее оказался неприятный, с нотками истерии.

Несколько минут мы говорили на соответственные темы — об астралях, флюидах, телепатии, телекинетии. Всеми этими словами моя гостья играла, как мячиком. И вдруг, сама прервав себя, она сказала:

— Ну, а зачем мы будем терять время?

— Конечно! — согласился я. — Жизнь коротка!

Она мило погрозила мне пальцем.



— А вот уж шутки вы должны оставить. Мы собрались не для шуток. Владека это не может обидеть. Но это разрушает наше настроение. Пока мы живем в нашем земном теле, мы рабы этого тела...

Третьим был я, четвертым мой знакомый, который тут же был представлен. Мы уселись за столик друг против друга, как садятся для игры в винт. Я протянул руку к электрической кнопке, и — мгновенно мы очутились в непроницаемой тьме.

Владек не дал нам опомниться. В жизни моей я не встречал более обходительного духа. Генеральша не успела положить руки на столик, как он весь заходил, застучал, стал крениться то в одну, то в другую сторону.

— Видите! — восторженно сказала генеральша. — Владек уже здесь. Милый Владек, ты будешь с нами говорить? Стукни три раза, если ты согласен (Владек отсчитал ровным счетом три удара ножкой). И ты покажешь нам феномены? Покажет. И никому не нужно выйти из цепи? Никому. И ты принесешь нам что-нибудь из мира? Вы знаете, — пояснила она специально для нас, — Владек бросает нам цветы, листки, бумажки, спички во время сеанса. Хотите, чтобы он сейчас что-нибудь принес?

— Пусть принесет цветок, — визгливо выкрикнула барышня.

— Просим цветок, — повторил я.

IV

Мы просидели несколько мгновений. Стол успокоился. Дамы замолчали. Вдруг барышня истерически выкрикнула:

— Огня! Дайте огня! Я слышала, как что-то упало на мою руку.

— Зажгите, зажгите электричество! — возгласила генеральша, теряя самообладание.

Черт возьми, в моей жизни это первый раз дух подносил цветы людям. Все строилось довольно юмористически, но признаюсь, в эту минуту нервность этих дам взвинтила и меня, и я не сразу нашел знакомую кнопку.

На секунду стало больно глазам. На столе, около наших рук, в самом деле лежал маленький, беленький цветочек вроде герани. Он не был свеж. Таким должен быть цветок, пролежавший час в жилетном кармане или за корсажем.

— Вот, вы видите, — воскликнула генеральша, и глаза ее загорелись так, что я сразу сказал себе: «Обманывает не она».

— А вы не веровали!

— Помилуйте, — возразил я. — Разве я выражал вам сомнение?

— Нет, не возражайте, — вы были заодно с Атанасом. Вы с ним заодно! Я это чувствовала. Вы — малонер! Но вы уверуете. Владек совершит чудо.

— С благосклонной помощью Элен, — язвительно сказал Атанас.

Я посмотрел на барышню. Она только презрительно повела тонкими губами и не подняла глаз, опущенных на стол.

— В моем доме нет таких цветов, — сказал я. — А в вашем?

— Это из моего будуара, — пояснила генеральша. — У



меня на правом окне... Владек был там в астральном теле.,.

Атанас повертел лепестки в руках и презрительно бросил их на стол.

— Он, верно, принес этот цветок в кармане.

V

Я не мог не улыбнуться и вдруг почувствовал глубокую симпатию к Атанасу. Барышня не поднимала глаз, только тонкие губки ее нервно ходили червячком.

— А можно принести и что-нибудь другое? — спросил я.

— Дух не знает пространства, — гордо отвечала за Владека генеральша. — Если вы не верите, — назовите сами.

— Теперь первый час, — сказал я. — Идет горячая работа в моей редакции. Пусть Владек принесет одну оловянную букву из типографии, — одну букву. Это можно?

— Отчего нельзя! — и генеральша оскорбленное повела плечами.

Свет снова погас. Стол снова заходил, застучал, закланялся. Но мы просидели полчаса, — буквы не было. Барышня перед приездом ко мне не была в типографии. Цветок испортил все мое мистическое настроение, и я рад был, что во тьме не видно моего улыбающегося лица.

Становилось глупо ждать дальше. Генеральша нашлась и заявила, что стол хочет говорить. О, она читала в сердце Владека, как в своем собственном! Стол, действительно, начал явственно выстукивать буквы под чтение Атанасом алфавита. Отчетливо отстукалось:

— Изгоните!

— Видите, видите! — заволновалась наша дама. — Кому-то нужно выйти. Кого изгнать, милый Владек?

Стол начал — «Ата...».

— Ну, разумеется, меня! — с прежней язвительностью сказал Атанас. — Еще хорошо, что здесь нет ничего тяжелого.

— Атанас! — умоляюще воскликнула генеральша.
— Замолчал, замолчал! — успокоил ее сын. — А может быть, Владек позволит мне покурить?

VI

Генеральша позволила ему это за Владека. Атанас вышел из цепи и сел в уголке. И в ту же секунду Владек почувствовал себя, как дома. Стол пустился в оживленную беседу, сказал всем по любезности, предсказал всем по несчастью, — словом, стал мил и изобретателен необычайно. Через несколько минут он простил даже и беспокойного Атанаса, позволил ему снова сесть, но сказал ему что-то наставительное и угрожающее.

Так мы сидели до двух, до трех, до четырех часов. Мне уже безумно хотелось спать. На то, что Владек пришлет нам с того света что-нибудь поинтереснее мятого цветка, потеряла надежду даже генеральша. Атанас вел себя явно вызывающе и совсем не любезно кивал на Элен.

Около четырех часов стол вдруг начал складывать какое-то слово, начинавшееся возмутительно неприличными звуками.

— Владека начинает перебивать враждебный дух, — пояснила генеральша. — Это — капитан Скрыга. Он — бурбон и нахал. У него чисто казарменные ухватки... Капитан, я запрещаю вам говорить гадости!

Стол опять запрыгал, и теперь для меня уже не оставалось никакого сомнения, что капитан Скрыга хочет отпустить по чьему-то адресу гнуснейшее ругательство из тех, что принято называть извозчичьими. Прилив бешеного хохота наполнил мою грудь. Никогда в жизни мне не приходилось подавлять в себе такую сокрушающую потребность смеха. Какое счастье, что мы сидели в непроницаемой тьме!

Чья это была затея? Атанас мстил за три часа одурачивания, или странная барышня находила, что пора кончать сеанс? Одна генеральша принимала это с тоской и верой.

Голосом умирающей Травиаты она говорила:

— Ну что же это такое! Ну ведь Владек сейчас уйдет! Он всегда уходит в таких случаях. Капитан — это наглый и сильный дух...

Скрыге так-таки не дали обругаться до конца. Генеральша резко оборвала сеанс и встала. Она была совсем расстроена. Не случись этого пассажира, она, вероятно, готова была бы сидеть до утра.

И уезжала она расстроенная. Ей казалось, что я уверовал, но не совсем. Я ее не разочаровывал.

— Может быть, вы будете счастливее в другой раз, — посулила она.

— Ах, с удовольствием! — ответил я, мысленно решив, что от второго сеанса я убегу в другое полушарие.

Провожая гостей, я горячо пожал руку Атанасу. Бедный, он был жертвой какой-то глупой семейной истории, которую, может быть, понимал во сто раз яснее меня. Совсем при прощанье я встретился глазами с племянницей. Она точно виновато отвела их в сторону. Мне было тоже неловко, — точно я подсмотрел чужую семейную тайну.

VII

Из провинции приехал профессионал-спирит, которого уже раскричали интервьюеры. В мирке увлекающихся считалось величайшим счастьем достать «на него» билет.

Нужно было сложиться по пяти рублей и с огромными трудностями установить день. На сеанс пригласили известного романиста, известную артистку. Назначили дом, установили час. Всех предупредили:

— Смотрите же, приезжайте минута в минуту: ровно в восемь садимся.

В восемь я уже давил кнопку звонка незнакомого мне дома. Мне сейчас же показали приезжую знаменитость. У нее был вид самоубийцы, обдумывающего род своей смерти.



Медиум держался особняком. Плоский лоб, оловянные глаза, фельдфебельские усы. Дамы подходили к нему и заговаривали с ним с очаровательными улыбками. Он говорил им «да», «нет». Дамы уходили разочарованные, но шептали: «А все-таки в нем что-то есть!..»

— Скажите, — спросил я его, — правда ли, что при вас появляется какое-то живое существо с мохнатой головой, которое трется о колени?

— Да.

— И это давно?

— Да.

— Оно никогда не говорит?

— Нет.

— А сами вы знаете что-нибудь о нем?

— Нет.

— А давно это делается?

— Да!..

Он говорил положительно только «да» и «нет». Если бы он не двигался, не пил чай, не курил, его можно было бы принять за автомат Альберта Великого, самостоятельно игравший в шахматы.

С товарищем мы решили сесть около медиума. Мы разделили поровну его руки и ноги и обязали друг друга к

величайшему контролю. Он не мог двинуть мизинцем без того, чтобы мы не заметили. Наивные люди! Лишив его всякой возможности действовать, мы думали, что перед нами в этот вечер пройдут удивительные чудеса!

VIII

Пробило уже девять часов. Была близка половина десятого. Мы все еще не садились. На нашу беду, хозяин оказался фотографом-любителем и выкладывал перед нами все свои бесконечные альбомы и снаряды.

— Жизнь коротка, не будем терять времени, — робко сказал я.

— Как! — закричал хозяин. — А чай? Вы хотите без чая? Жена так старалась. Оставьте. Вот напьемся и сядем.

В столовой мы поняли, почему мы должны были пить чай. Там был настоящий парад всему серебру, хрусталу и фарфору. Стол был сервирован, как на картинке. Какие салфеточки, какие ложечки, какие блюдечки для варенья! Только в одиннадцатом часу мы загасили огни и сели в круг.

На этот раз духи не торопились. Только минут через двадцать медиум вытянул ногу, находившуюся под моим контролем, и стол заколебался.

— Он двигает ногой и освобождает руку! — среди гробового молчания сказал громко мой товарищ. Это был чистейший латинский язык. Почему он говорил на латинском? Вероятно, он хотел, чтобы это звучало торжественно, и вместе боялся, что французский доступен медиуму. Дамы взволнованно зашептали: «Что? что?».

Не могло быть горшей ошибки. Спирит не знал, что значит по-французски *bonjour*, и недурно владел латынью. Он был католик и, кажется, из семинаристов. Весь план наш был погублен.

Медиум понял, что его поставили в условия строжайшего контроля, когда не только невозможно опростать ногу от сапога и водить ею по доверчивым лысынам, но даже

трудно раскачать столик.

От этого вечера и этой ночи у меня сохранилось кошмарнейшее впечатление бессмысленно погубленных шести-семи часов. Медиум сидел, как деревянный, как факир, как труп, как мумия, как мешок из человеческой кожи, налитый свинцом. Из нас, восьми или десяти человек, каждый с наслаждением помог бы ему в какой угодно мистификации, если бы он только двинул пальцем! Но он, видимо, дал себе слово наказать нас. И — наказал.

В антракты мы разминали ноги, вытягивали руки. Медиум уныло курил и говорил *да и нет*. В три часа ночи он пересчитал восемь или десять пятирублевок, поданных ему сонным хозяином, сказал: «верно!» — надел довольно потертый елот и уехал.

IX

Если в этих случаях я мог пожалеть о неяркости феноменов, то однажды мне пришлось пережить в этом смысле истинное *embarras de richesses*.

Сюда меня приглашали таинственно и торжественно. Дело должно было происходить у признанного мага, о котором писали в газетах. Мне давали понять, что это — прямо великая честь попасть на такой сеанс, что делается там «черт знает что» и мне «оказывают исключительное доверие».

Мы немножко опоздали и приехали, когда уже все сидели за огромным круглым столом, сажени в полторы в диаметре, в большой комнате, где была искусственно создана такая тьма, какой почти невозможно достигнуть без особенных приспособлений.

В камине вспыхнул крошечный огонек красной электрической лампочки. Во тьме смутно обрисовались силуэты человек двенадцати, сидевших за столом. Огонек сейчас же закрыли и притворили за нами дверь.

— Вы пожалуйста сюда, а вы — сюда!

Нас разъединили. Я попал между двух дам, впервые встре-

чаемых мной здесь, как впервые я видел и все остальное. Ни лиц, ни фигур их я не мог видеть, — только чувствовал полноту их тел и тот возраст, который называется бальзаковским.

Через минуту я понял, что мне оказана честь сидеть рядом с хозяйкой. Она же была и режиссером.

— Медиум — через два человека от вас влево, — сказала она. — Другой медиум — мой муж. У нас уже начинались явления. Вы немножко разбили настроение, но увидите у нас поразительные вещи. Чтобы способствовать духу, начнемте что-нибудь петь. Кто не умеет — не смущайтесь. Подтягивайте, кто как может. Важно, чтобы было слияние голов.

И легким баском она затянула чуть ли не «Среди долины ровные». Точно простуженные или невыспавшиеся, неумелые голоса подхватили мотив. Один офицер пел так, словно медведь наступил ему на ухо.

— Тише! — вдруг сказала хозяйка. — Вы слышите шорох в правом углу? Мне кажется, что наш Льонсо уже здесь. Видите ли, — она любезно повернулась ко мне, — у нас появляется существо, похожее на маленького львенка. Мы ощупываем его шерсть. Оно-то и совершает феномены. Как символ, у нас куплена игрушка, маленький львенок, который пищит, потому что в нем машинка. С этого обыкновенно и начинается.

Она не успела кончить, как из правого угла комнаты в самом деле послышался сдавленный хрип или хрюканье, производимое игрушкой, как будто кто нажимал ее за брюхо. У некоторых прямо вырвалось восклицание испуга.

— Не бойтесь, — успокоила хозяйка. — Льонсо никогда никому не сделал вреда. И не бойтесь никаких явлений. Льонсо к нам благосклонен. Ты к нам благосклонен, Льонсо?

Х

Страшный удар по столу, как если бы кто шлепнул по не-

му ладонью, оборвал ее слова. Это было плохое доказательство благосклонности. Стук шел с той стороны, где сидел прославленный маг. Я не сомневаюсь, что он ушиб себе руку. Через минуту в воздухе над нашими головами послышалось щелканье пальцев большого и среднего, как этим забавляются гимназисты младших классов. По слуховому ощущению, это было опять как раз там, где сидел маг.

— И ваш муж сидит в цепи? — спросил я.

— О, нет, он никогда не садится в цепь.

— А если внезапно оборвать цепь?

— Боже вас сохрани, с медиумами будет глубокий обморок.

— А двери закрыты на ключ?

— Нет, мы дверей не затворяем.

«Ах, вот как обставляется у вас сеанс!» — подумал я, и мне вспомнился Владек и барышня, похожая на белену, и весь тот бессмысленный вечер. Здесь, в большой комнате, были в разных углах две двери на неслышных петлях за мягкими портьерами. Особо ото всех сидел человек вне контроля, — профессионал оккультного дела. Тут не только мог хрипеть игрушечный львенок, но четверо горничных могли сюда принести и унести рояль, укрепить на потолке люстру, вынести из комнаты всю мебель, убить человека, переодеть его и уложить в принесенный гроб.

В этот вечер я видел здесь такие чудеса, что если бы одна сотая доля их могла произойти в научной обстановке, — спиритизм получил бы во мне своего прозелита до могилы.

Небольшая шарманка сама заводилась незримым ключом и играла арию за арией. Два колокольчика звонили одновременно в разных углах кабинета. Часы били столько раз, сколько им назначали. Льонсо рычал и хрипел и оказывался то на наших головах, то на наших коленях.

Я даю голову на отсечение, что по крайней мере две горничные помогали в эту ночь чудес призракам с того света.

XI

Тигровая шкура вдруг поползла с пола и, грязная, пыльная, протащилась по нескольким головам, по дамским прищескам. «Ах! ах!» — в неподдельном ужасе восклицали дамы.

Мне стало очень противно, когда шкура обнаружила поползновение идти на мою голову. К счастью, после антракта я сидел уже с другой дамой, молодой и довольно спокойной. Я попросил ее освободить мне правую руку и, чтобы не разрывать цепь, соединил с ее рукой свою левую руку. Правой я мог свободно описывать круги в окружающей нас тьме.

Почти инстинктивно я взмахнул рукой, отстраняя шкуру, и, — о ужас! — ощутил вполне материализовавшегося духа. Я прошу извинения у читательниц, но то, на что наткнулась моя рука, без всякого сомнения, было не что иное, как молодая, упругая женская грудь. Она приходилась в уровень моей головы.

Мне показалось, что дух едва не проронил восклицание от неожиданности этого слишком земного прикосновения. Во всяком случае, он порывисто и по-прежнему бесшумно, — ибо, разумеется, был без башмаков, — отпрянул и исчез, увлакивая с собой тигровую шкуру.

— Извиняюсь, но я хотел бы выйти из цепи, — сказал я.

— Почему? — обеспокоенно осведомились сразу и маг, и его помощница. — Вы боитесь? Не бойтесь!.. Льюис не...

— Нет, — сказал я, — я настроен прозаичнее многих. Но я имел неосторожность рассердить духа. А духи мстительны.

Я сыграл роль андерсеновского мальчика. Вероятно, и кой-кто из остальных был уже одного со мной мнения об этом спектакле.

Скоро дали огонь. Все встали. Сеанс кончился. Кажется, даже наиболее верующие чувствовали, что духи сегодня переборщили и что-то напутали.

В прихожей горничная подала мне пальто. Ушки ее горели под начесами густых волос. Ей сегодня пришлось-таки поволноваться! Я сунул ей в руку мелочь и сказал:
— Спасибо, умница!



Она потупила глаза, совсем как Элен!..

Я рассказал, как на духу, эти три случая из моей жизни, к которым можно свести и все сто три. Весь этот рассказ не имел бы ни малейшего смысла, если бы хоть одну строку в нем я сам сочинил.

Я знаю, что таким чистосердечным признанием я подвергаю себя хериму всех жрецов этой возвышенной науки, что двери спиритических салонов, не только тех, где происходило рассказанное, — передо мною закрыты навсегда. Общение мое с веселым царством духов, тискающих живот

мохнатых игрушек, отрезано навеки.

Но теперь я не жалею об этом, ибо с тех пор, как я был на спектакле любезного Льюиса, утекло уже порядочно воды. С тех пор у меня больше книг и больше седых волос в голове, теперь я дорожу ценю свое время. Пусть другие возьмут от жизни свою долю безумия, — с меня довольно. Теперь я знаю, что больше смысла — перечитывать Телемахиаду, изобретать семена для разводки форели, вычислять беспроектную систему рулетки, считать рыбы кости в индюшке и искать шуток в часослове, чем делить с сатаной его досуги...

ПОСЛЕДНИЙ ГРАФОМАН

I

Бедному русскому критику снился сон.

* * *

Снилось ему, будто он очутился вдруг на Парнасе. Ну, можете себе представить, не на бутафорской горе в Парголове, где живет Фидлер, а на самом настоящем Парнасе, в покоях Аполлона.

Был утренний час. Аполлон еще не переоделся из халата и шмыгал туфлями, как заправский титулярный. В открытый ворот виднелась волосатая грудь. Лицо еще не было выбрито, и лучезарный был похож на обыкновенного актера перед утренним чаем.

И красота его была красотой уже отяжелевшего, располневшего, увядающего первого любовника той поры, когда ему переваливает за сорок, — у него уже три семьи, маленькая дача под городом, катар от ресторанных обедов, когда он окончательно перестает учить роли и называет всех актрис без разбора: «дитя мое».

В висках его, как пишут бульварные романисты, просвечивала предательская седина.

II

Покой Аполлона сильно напоминал сцену большого столичного театра. На авансцене было светло. Задняя, неосвещенная половина, очевидно, служила каким-то архивом.

Стояли прислоненные к стенам декорации дворца с колоннами, цветущего луга, аркадийских далей.

Видимо, по мере надобности, все это пускалось в ход по высокаторжественным и праздничным дням.

По всем углам были нагромождены горы всевозможных фигур и предметов литературного обихода. Некоторые были сделаны настолько искусно, что критику стоило некоторого труда увидеть, что это просто бутафория. Некоторые, наоборот, отличались такой аляповатостью, что сразу было видно гамбургское или российское производство, где одинаково скверно делают и луну, и бутафорию, и конституцию, и рассказы с психологией на либеральные темы, и мистический анархизм.

III

Внимание критика привлек босяк со сломанной ногой и отбитым ухом. С лица его уже слезла краска, и жутко чернел грубо намалеванный синяк под глазом. Десяток привидений «в белом» был прислонен к стене. Так маляр ставит чурбаны для просушки.

Странное впечатление производили две обнявшиеся куклы — молодого человека в студенческом мундире и девушки с короткими волосами.

В качестве бывалого человека, критик, как только взглянул на эти манекены, тотчас же догадался, что это, очевидно, медик и курсистка из дамских рассказов, умирающие от тифа в деревне, которую они поехали спасать. Фигуры были страшно стерты, захватанные руками, закапанные чернилами и слезами Скабичевского и плевками Буренина.

IV

На куклу-человека в чехле из брезента («Человек в футляре!» — решил критик) был навален танцующий медведь, на медведя — горка бутафорских колбас из папье-маше, а на колбасы — камин с ярко-красными язычками из тряпок.

Если сзади поставить поддувало и зажечь красную электрическую лампочку, то они могли трепетать, как пламя, — ну, вот совсем как настоящее пламя!

Критик опять сразу понял, что это медведи из рождественских рассказов Каразина, у которого они всегда пляшут вокруг елки в лесу; колбасы из малорусских рассказов Потапенко, а камин — тот самый камин, у которого всегда сидят в святочные вечера собеседники, курят превосходные сигары, и доктор, — непременно доктор, а не кто-нибудь другой, — угощает их страшными рассказами.

V

Вы понимаете, что все это было страшно знакомо критику, ибо это был самый настоящий критик.

Во-первых, и происхождение, и воспитание предназначали его к карьере, не имеющей решительно ничего общего с карьерой критика. Во-вторых, он не дочитывал до конца ни одного произведения, о котором писал. В-третьих, каждую неделю он писал три фельетона в три большие газеты, имевшие собственную типографию, собственных корреспондентов и собственного редактора. Трижды в неделю он перекусывал кого-нибудь из собратий, с которым потом встречался с совершенно спокойным видом.

О, это был старый воробей, которого было трудно провести на мякине, на бутафорском камине или замороженном мальчике! Однажды он обругал даже Гончарова, — подумайте, самого Гончарова! Значит, это была птица! И когда его укоряли собратья за его свирепость к ним, он го-

ворил: «Послушайте, я ругал Гончарова», и смеющимися, презрительными глазами смотрел в переносицу собеседнику.

VI

Аполлон перестал нервно ходить по авансцене, почесал редющую маковку и сказал молодому человеку в пиджаке, наводившему порядок в архиве, — очевидно, секретарю Парнаса:

— Черт возьми, трещит голова со вчерашнего! После этих нелепых забастовок в амврозию стали подбавлять невесть какую дрянь! Читаешь ярлык, — «амврозия», этикет утвержден, а пить начнешь — какой-то сентифарис братьев Чугреевых! Что, пива не осталось?

— Извините, божественный, — отвечал секретарь точно-точно тем почтительно-сладким голосом, каким на земле говорит секретарь редакции с издателем перед праздничными наградными, — пиво все выпито в «Вене» молодыми литераторами. Может быть, позвольте содовой?

— Талантливые люди! — буркнул Аполлон не то досадливо, не то поощрительно. — Дай содовой!

Секретарь спроворил содовую с быстротой, совершенно неизвестной в земных ресторанах, и, окинув глазами всю бутафорскую разруху, сказал:

— Как посмотрю я, божественный, на всю эту канитель!.. Да, думаю, была игра! Есть что вспомнить... Каково это при вашем-то вкусе!..

— Не вспоминай! — отмахнулся Аполлон не без кокетства.

— Как вспомню, лучезарный, хотя бы о рождественских праздниках, — смех берет. Как Рождество, так зажгут у себя елки, и давай в рассказы играть. Кто кого длиннее, кто кого страшнее!.. Дамы эти в особенности. Дубровина, помилуй ее Персефона! Голос такой жалостливый сделает, тонкий: «Расчувствуйтесь для рождественской ночи!..» Чис-

тая Сибирь, божественный! Скучно, как осенний дождь. Теперь извольте видеть, хоть бы кто для вида поинтересовался этим хламом.

Он пихнул ногой одну из кукол. Та сделала три вращения и остановилась, колыхаясь.

VIII

— Не поступает требований?

— Ни одного, повелитель. Нынче совсем тихо. В прошлом году еще был спрос на революционеров, на раскаявшихся околоточных, на сыщиков, под звон рождественских колоколов бросающих свое ремесло. В «Московские ведомости» с большим удовольствием брали кающихся революционеров. Голицын-Муравлин для своего романа требовал. А теперь ничто не идет! Баррикад наготовили в огромном количестве, а ушло не больше полусотни.

— Ты всегда натарантишь. Давно не штрафовал тебя.

— Виноват, лучезарный! Баррикад вы сами изволили заказывать. Баррикады вы сами. Покаявшихся околоточных, действительно, я. Мой грех. Перемахнул. Всего троих-четверых взяли. Десятка два осталось. Одна надежда на стилизацию.

— Что такое?

IX

— Не нынче — после уйдут. Вон, Тредьяковского свирель полтора года лет в углу валялась.. Заплеснела. Заржавела. Тараканы, извините, засидели. А нашлись охотники. Вячеслав Иванов затребовали, и очень довольны. Сидят и дудят. Я так полагаю, божественный, покуда от вас прямого циркуляра с запрещением не выйдет, они эту стилизацию не бросят. Не-ет!..

— Доиграются до циркуляра, — рассеянно сказал Аполлон и почесал подмышку.

— А ловко вы их, лучезарный, тогда ахнули. Не ожидали. Терпели-терпели всю эту банальщину да и грянули. «Кто напишет рождественский рассказ о заколоченном доме, привидении в белом, раскаявшемся околоточном, — повинен в оскорблении величества Аполлона и будет повешен». Знаете, эту толстокожую братию иначе нельзя. Нельзя иначе. Ведь только благодаря этому и прекратилось. Возьмите теперь: Рождество, и — ничего подобного!..

Х

«Ныне отпускаеши! — подумал критик. — Неужели я не сплю? Неужели дожил? Неужели сподобился?»

— Ни одного! — подтвердил секретарь. — Хоть шаром покати! А сколько на этот расстрел понадобилось молний! Помню, Вулкан первое время во какие счета закатывал!

— Приписывал, каналья!

— Приписывал, конечно, не без того, а все-таки... Ведь, бывало, как тараканы во щи, так и прут, так и прут. Мания какая-то. Иной целый год человек, как человек, а на святках хлебом не корми, — дай ушибить кого-нибудь привидением. Бывало, мальчиков расхватают, медведей расхватают, привидения расхватают, и каждому подавай «в белом». Из-за каминов одна сплошная неприятность шла. Сотню заготовишь, — мало. Тысячу, — мало. В один «Петербургский листок» да в «Свет» что уходили!.. Диккенс перевертывался-перевертывался в гробу да и опять на спину лег.

— Пошляки! — буркнул Аполлон.

ХІ

— Может, прикажете ввести последнего-то? — спросил

секретарь.

— Факт установленный?

— Вне всякого сомнения. Как раз не досчитались одного раскаявшегося сыщика. Взят с поличным.

— Так-таки и написал?

— Так-таки, без стыда и совести.

— О кающемся околоточном?

— В рождественскую ночь кается сыщик. Несомненный состав преступления.

— П-пошляк! — с отвращением бросил Аполлон и плюнул.

— Подлец! — вырвалось у критика.

Аполлон повернул в его сторону толстую шею.

— Кто это сказал — подлец?

— Ослышались, божественный. Кому-ж тут говорить?

— Что ж делать? Придется повесить, — пожал Аполлон плечами. — Жестоко, но необходимо. Молний не накуешься. При нынешней ренте и нам, братец, приходится экономить. Введи.

— А вы, ваше... — замялся секретарь. — В таком виде... Все-таки смертный... Все-таки престиж...

— Ты прав. Хотя, по совести, они сами меня в грош не ставят. Дай на всякий случай парик и тогу. Пусти на меня электричество. Дурак, не то! Дай голубой цвет!.. Да погреми малость громом...

ХII

Трудно изобразить чувства критика, когда он увидел введенного подсудимого. Данте меньше волновался, увидя Беатриче, и писатель с меньшею радостью читает фельетон Буренина, разделявающий его собрата.

Вошедший человек был весь серый. Трудно было сказать, брюнет он или блондин, очень молод или пожилой, толстый или худой. Именно такой, весь серый, мог теперь, в двадцатом веке, совершить такое преступление.

Два парнасских будочника втащили бутафорского раскаявшегося сыщика и положили его на стол печатями сверху.

У Аполлона, в тоге и кудрях, залитых лучьями, было теперь прекрасное, бледное и грустное лицо. Никак нельзя было подумать, что оно бледно и грустно от катцен-яммера.

XIII

Бесстрастным казенным голосом столоначальника консистерин секретарь Аполлона прочитал обвинительный акт.

— Признаешь ли ты себя виновным?

Голос бога прозвучал грустно. Подсудимый потупил голову.

— Что уж тут! — отвечал серый человек. — Грех попутал...

— Может быть, ты не знал, что тебя ждет за это?

Голова опустилась еще ниже:

— Знал.

— Может быть, ты многосемейный?

— Я холост.

— Может быть, тебе было нечего есть?

— Я не беден.

— Может быть, ты вовсе не хотел распространения этого рассказа?

— Я хотел, чтобы его все прочитали.

XIV

— Подлец! — слышался чей-то голос.

Аполлон повернул шею!

— Кто сказал: подлец?

— Вы ослышались, лучезарный. Никто не говорил.

— У него нет никаких смягчающих обстоятельств! — безнадежно воскликнул Аполлон. — Никаких! Повесить! — резко прибавил он.

Критик живо и злорадно представили себе картину казни. Он уже видел, как этого, последнего из графоманов, ведут, как возводят на эшафот...

— Прав ты, великий и гневный! — восторженно воскликнул он.

XV

И вот этого уж совсем не следовало ему делать. Потому что, как только он воскликнул, он пошевелился, а как пошевелился — проснулся. И зрелища, которое, вероятно, могло доставить ему значительное удовольствие, он не увидел. А вместо этого он увидел на своем столе груды газет, и в каждой из них были рождественские рассказы...

И тут же были три письма от трех редакторов, и каждый из них хотел иметь от критика собственный фельетон о нынешних рассказах. Только один просил статью к среде, другой — к четвергу и третий — к пятнице...

Бедному русскому критику снился сон, — увы! — только сон.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СОН В ИВАНОВУ НОЧЬ

Месяц ходит высоко над тихим селом. Ночка летняя на землю пала. После страдного дня спит село крепким сном на святого Ивана Купала. А во рву, где ракита чуть слышно шумит, растянувшись, Фаддей загулявший лежит. И ночной ветерок, тихо вея, шевелить волоса у Фаддея.

И ведет в тишине разговоры Фаддей, словно видит кого пред собою. «И чего, — говорит, — ты пристал, дуралей? Не чужое, — свое пил вино я. Именинник мой кум. Нешто мог я не пить? А тебя, невеглас, батогом надо бить. Не полез бы ты к людям с докукой! Для тебя это было б наукой».

«Нынче ночь на Купалу, — смекает Фаддей. — Стало, ведьмы на шабаш помчатся. Пронеси их, Господь, мимо наших полей, — не хотелось бы с ними встречаться. Как захватят с собой в свой бесовский поход, — не замолишь греха, ставь хоть свечи весь год. Аль закружат на воздухе в пляске. Упаси Бог от этакой ласки!..»

Закатилось солнце, ушло на покой. Слышно, леший свистит и вздыхает. Всей ладонью хватил по реке водяной. Бес вдали на селе завывает.

«Ой, придется сегодня чудес повидать!.. Лучше б было у кума всю ночь пролежать. Коли был бы теперича в хате, — без греха бы полез на полати.

Ну, авось, и просплю эту ночь как-нибудь. Бог не выдаст, — свинье нас не слопать». И совсем собрался уж гуляка заснуть, подложивши под голову локоть. Но глаза лишь завел злополучный Фаддей, слышит странный он шум, словно топот коней, стоны, вопли и свист и галденье, дикий смех и разгульное пенье...

«Началось наваждение, — смекает мужик, — да не мне лих ему удивляться. Я с нечистой силой частенько привык ночкой темной глаз на глаз встречаться. В прошлом годе мне леший полозья саней приморозил, на горе клячонки моей, а на святках сам-друг мы в кружале с водяным как-то в кости играли...»

С шумом поезд бесовский несется пред ним так поспешно, что дух замирает. Стал внезапно мужик, словно столб, недвижим и со страхом на диво взирает. Мчатся злыдни, кикиморы с ведьмами вскачь. Слышны вопли и крики, и хохот и плач, и гуденье зурны и сопели, — звон цимбала и пiski свирели.

Следом мечутся лешие целой толпой, на козлиных ногах, с бородами. Полушубки запахнуты левой поллой, — пляшут, бесятся, машут руками. Не видать человеку нигде таких лиц. Волоса словно сноп и глаза без ресниц, и пылают, как очи Иуды. Вот уж подлинно, — вражьи сосуды!..

А за ними кикиморы роем летят, разделившись на тройки и пары. Лешачихи на праздник бесовский спешат, упыри, дивожены и мары. Домовые верхом на уродах-козлах, водяные все в тине, с песком в волосах, — вся-то нечисть и нежить несется, песни вопит и дико смеется.

И дивится Фаддей на бесовскую рать, с укоризной на нежить взирает. И старается он это чудо понять, но как есть ничего не смекает. Поезд ближе и ближе. Еще один миг, и совсем бедняка он, Фаддея, настиг. Чует он, как нечистая сила вдруг на воздух его подхватила..

Закружился мужик, словно осенью лист, поднялся во мгновение ока. Шум стоит в голове, и в ушах стон и свист, а село уж далеко-далеко. Видит он, что не в силах свершить и креста. Обругнуться хотел, — онемели уста. Так смиренно без свары и ссоры прилетел он на Лысую гору.

...На горе все костры, за кострами чаны... На волынках гудцы завывают. Виночерпии, — сами давно уж пьяны, — во братины вино наливают. Через костры скачут ведьмы на псах, помелах, и в кипучих котлах, на горячих огнях, душегубному миру на диво, на яду варят крепкое пиво.

И играет труба, и гудит барабан, ведьмы пляшут и голы, и босы. При огне блещет мазями вытертый стан, и распущены по плечам косы. Плюнул злобно Фаддей. — «Экий срам и позор! Не видал я такой срамоты до сих пор. Вдругорядь на Ивана Купала не пойду ни на пир, ни в кружало.

Буду дома лежать на печи да с женой толковать про покос и про жнитву». Вдруг Фаддей привскочил, как ужален

змеей, и нашептывать начал молитву. — «Сон ли это иль явь? Неужели жена?!.. Да и впрямь не ошибся, — конечно, она... Вон заходит за дерево с краю. Хоть и пьян, а жену распознаю...»

Вон она у костра, разведенного там, — оле срам и бесчестие мужу! — распустив свои косы по голым плечам, перепрыгнуть старается лужу. А за ней бесенята кружатся толпой, воют, нюют, кричат, — и далеко их вой по пустому пространству несется, гулким эхом вдали отдается.

Закипела обида в груди мужика, чуть не взвыл он от лютой досады. — «Ой, жена, провела ж ты меня, дурака, посрамила навек без пощады... Эх ты, старый базага, шатун, скоморох! Сколько лет с нею жил, — разобраться не мог. Думал: ум твой и ясен и светел, а хвоста до сих пор не приметил!

Поделом татю кнут. Отличить не умел от подружия ведьмы постылой. С ней, что с бабою, жил, из одной миски ел, целовал в окаянное рыло!..» А уж нечисть, как видно, устала плясать. Знать, и ей наступила пора отдохнуть. Разместилась она по оврагу, — пьет из конского черепа брагу.

Видит дальше Фаддей: наливает жена пива пенного полную чару. — «А ведь мужу скучненько, — смеется она, — аль налить и ему полугару? За здоровье мое пей копытце одно, пиво славное ВЫШЛО, и крепко вино, и приятно, — поверь своей ладе, — на змеином настояно яде».

Не успел горемыка и глазом моргнуть, как вино ему вылили в горло. Как огнем обожгло молодецкую грудь, вмиг дыханье от горечи сперло. Чуть не помер Фаддей, еле дух перевел. «Ох, святители, видно, конец подошел! Помираю от женки постылой. Ой, угодник Микола, помилуй!..

Много зла натворил на своем я веку. Рукавицы украл у соседа. Оскоромился в пост, продал с сором муку, выходил, словно бык, от обеда. На чужую жену с вождельем взирал, неповинных людей ни за что обвинял, писарям беззаконным в угоду. А уж водку тянул — словно воду...»

...Догадался проснуться Фаддей в этот миг. Стал глаза протирать кулаками. Долго думал мужик и едва лишь постиг, что лежит он во рву за лугами... Рассветало. Восток чуть

заметно алел. Лес сосновый вдали длинной лентой темнел. Тучки носятся в небе, играя. Не слышать куроклика и лая.

Спит народ крепким сном после летней страды. Спят, вершины понуря, березы. Чуть журчат в ручейке струи теплой воды. Рыбы спят, погруженные в грезы. Скоро люди проснутся, топор застучит, птичий щекот свободно в лугах зазвенит. Дуб с сосной пошептаться захочет. Запоет песню раннюю кочет.

Встал мужик. Пятерней в голове почесал, порасправил затекшие ноги. Картузишко напрасно кругом поискал, — надо быть, обронил по дороге. — «Ну, теперь от греха убираться домой. Экий выдался нонче денек-то благой. Дома женку дождусь да поймаю. Хоть и пьян, а бока наломаю».

...Трудно было Фаддею до хаты идти. Видно, бес над беднягой глумился. Столько стало ухабов и ям на пути, что не раз он на землю валился. Вот и хата стоит на окраине села. — «Ну, одначе, пришлось похлебать киселя! А не ждал от бесов я пощады. Чтоб вы в пекле' задохнулись, гады!»

В хате тихо и пусто. Сверчок-домосед песню под нос себе напевает. В окна льется спокойный предутренний свет, домовый сокрушенно вздыхает. Поднялся на полати Фаддей, поглядел... «Ах, бесстыдная женка, о, горький удел: нет супавы, и пусты полати, и охабень валяется в хате.

Ну и дам же я женке ужо нагоняй, потолкую приятно и нежно!..» Стал Фаддей сторожить, да заснул невзначай и проспал до утра безмятежно... Высоко уже на небе солнце стоит, рассердившись на кур, громко петел кричит, и жена, как ни в чем не бывало, топит в печке вчерашнее сало.

Усмехнулся со злобой мужик, посмотрел на жену с укоризной немалой. — «Ну, — промолвил, — жена, что вчера я узрел!.. Человек-то я нонче бывалый!.. Ты ведь, милая, — ведьма. Вечерней порой не тебя ли я видел за Лысой горой?..» — «Что ты, бешеный, право! В уме ли? Всю я ночь не сходила с постели.

Да и сам ты бок о бок со мною лежал. Чай, уж вдосталь теперь нахрапелся. Все во сне говорил, и бурлил и стонал. Видно, набок у кума наелся...» Растерялся мужик. «Уж не

впрямь ли то сон, — и бесовский тот шабаш, и пир и го-
мóн?» А жена, в том его уверяя, смотрит в очи ему, не ми-
гая.

Кто тут прав, — любопытный и трудный вопрос. Сам бы
дьяк тут зело затруднился! Но когда б наяву черт Фаддея
унес, — на село бы уж он не явился. И с другой стороны,
если спал он с женой, — как же видел его старшина воло-
стной, — в трезвом виде, своими глазами, — крепко спящим
во рву, за лугами?..

А, быть может, тут спутала что-то жена? Значит, путать
была ей причина? Рассказать, где ту ночь проводила она,
мог бы писарь, изрядный детина, что с женою Фаддеевой
дружбу водил... На беду, в этот день он приказ получил и уе-
хал в уезд для доклада... Тут и кончить придется балладу...

НАВАЖДЕНИЕ

Белым снегом покрыт, бор сосновый стоит. Вьюга злится, гудит и реветь.. На поля и на лес смотрят звезды с небес. Над землей ясный месяц встает.

Ходит Леший в тиши, в заповедной глуши, по замерзшим деревьям стучит. Воеет волк вдалеке. На заснувшей реке ветер злобно сугробы кружит.

Весел мельник Фома. Пусть бушует зима, пусть дорогу кругом занесло. Под плотиной речной пусть сопит Водяной, — на печи и покой, и тепло...

«Ветер дуй и гуди, лишь меня не буди: одолел, зашатал меня хмель. Люб мне снег и мороз... Чу, разляялся пес, — уж не гость ли в такую метель?»

Спит тепер Водяной под корой ледяной, в зачарованном царстве воды. Видит зимние сны, ждет веселой весны, а кругом — только рыба да льды...

Вот весною пахнет, заколышется лед. Соловьи на заре зазвенят, и из глуби речной выйдет дед Водяной, из хрустальных подводных палат...

Пуще злобится пес. Лень идти на мороз, а и впрямь на дворе кто-то есть. Гостю — щи да пирог, вору — в шею пинок; по заслуге и встреча и честь...

«Вот светец засвечу да тулуп захвачу, уж грехом не забрался ли вор. Я хмелен, да не глуп!..» И, накиннув тулуп, из избы он выходит на двор.

Лунный свет на снегу... На речном берегу ветер снегу сугробы метет. По дороге лесной, перед самой избой, — мельник видит, — прохожий идет.

Снегом весь занесен. Борода — белый лен. Словно жиром заплыло лицо. И, сопя будто конь, лезет гость на огонь, — чрез сугроб норовит на крыльцо.

Вот уж он у дверей. Говорит: «Обогрей, приюти на ночлег, мукомол! Из кружала иду, да — тебе на беду — на твою я избушку набрел.

К ночи шел ко двору, заплутался в бору, — разум, знать, у

хмельного не свеж. Холод кости пробрал, пес до смерти спу-
жал... Ну и пес, ах ты, волк те заешь!..»

Мельник жизни не рад, в страхе лезет назад. — «Чур
меня, пропади, сатана!... Лаял пес не к добру: в эту пору в
бору только нечисть лишь бродит одна...»

...Гость и мельник в тепле. На сосновом столе шей кор-
чага и брага, и мед. Да, сомнения нет: Водяной это дед. Ну-
жны деду хлеб-соль и почет.

Гой ты, дед Водяник! Что за чудный старик! Видно сра-
зу, что гость не простой. И одет, словно лях. Ноги в пестрых
штанах. Исполать тебе, гость дорогой!..

И сопит, будто конь. Голова, что ладонь. Как хозяин,
уселся за стол. — «Ешь, старинушка, ешь!» («А и знатная
ж плешь!» — говорит про себя мукомол).

Принялся Водяник. Щи с говядиной вмиг из корчаги по-
выхлебал он. — «Уф, одначе упрел!.. Знатно, сват, я поел. За
радушье поземный поклон!

А теперь мы вдвоем браги хмельной хлебнем!.. Не люб-
лю я воды, — пью вино!» — «Ладно, — мыслит Фома, — я не
выжил с ума. Провести, брат, меня мудрено.

А, глядишь, ведь под лед так ершом и нырнет. Зря пус-
каешь ты в очи туман!..» — «Вот люблю, старина, добираться
до дна. Ну, теперя я согрелся и пьян».

Гость вальяжно сидит, мутным оком глядит, руки в бо-
ки и ноги вперед. — «Мед еще в бочке есть, угощу твою
честь!..» — «Исполать! подавай сюда мед!»

Вьется мельник вьюном пред чудным стариком; пуще
чванится дед-Водяной. — «Был я, мельник, в корчме, — го-
ворит он Фоме, — потешался там в кости игрой.

Знать, плохой я игрец, — проигрался вконец, погубил
всю казну свою, сват!...» Мельник думает: «Вот небылицу
плетет, чай в мошне-то все гривны звенят...

За почет да привет наградит меня дед, кучу высыплет
денег на стол...» — «Не пора ль, гость честной, расплатить-
ся со мной?» — говорит старику мукомол.

— «Эх, хозяин, уволь. Я ведь — суцая голь... Что и ла-
зять в пустую мошну?.. Ты меня, сват, прости, в путь теперя
отпусти: мне пора ко двору да ко сну...

«Дрема на бок манит. В левом ухе звенит. Коли лег бы, —сейчас захрапел...» — «Нет, ты, дед, погоди!.. Ты со мной не чуди: я давно ведь тебя разглядел.

В теремах под водой много ткани цветной, аксамиту, парчи и камней. Не простой ты старик, — ты ведь дед-Водяник! Наградить не грешно бы, ей-ей!..»

Гость отпрянул назад. — «Ай с ума спятил, сват? Я не нечисть, — помиловал Бог! За леском, под Москвой, есть боярин Нагой. Я — веселый его скоморох.

Точно, я загулял. Во кружало попал. Во кружале народу не честь. Чуть ступил за порог, все кричат: “Скоморох! Пей вино, — потешай нашу честь”.

Песни я распевал и на домре играл, — там и домру свою позабыл! — да в игре сплутовал... Кто-то в шею мне дал. Я с кружала бегом припустил.

Леший не дал пройти, — заплутал я в пути, в трех соснах заблудился в хмелю... Ну, да миловал Бог, — не замерз скоморох. Принесло меня в хату твою.

Ты уж мне не перечь...» Слыша дедову речь, пьяный мельник не верит ушам.— «Ой, я старый дурак! И попал же впросак! Щи-то лучше бы выхлебал сам...

Кабы ведать да знать, взашей было б прогнать! Ах ты, старый базыга и тать! Чтоб те Леший занес, лютый, скаредный пес, чтобы в век тебе щей не едать!..»

— «Вольно ты запенял... Щей я, что ль, не видал? — подбочась, говорит скоморох. — И принять-то, как след, не сумел, глупый дед!» — и неспешно идет за порог.

...Ветер стих за окном. На селе, за леском, петел раннюю песню гласит. Мышь скребется в норе, а Фома на дворе все плюется да гостя бранит...

ОБ АВТОРЕ



Литературный критик, поэт, писатель и пародист Александр Алексеевич Измайлов (1873-1921) родился в Петербурге в семье дьякона одной из церквей Смоленского кладбища (отсюда использовавшийся им псевд. Смоленский).

В 1897 г. окончил Петербургскую духовную академию. Дебютировал как беллетрист в 1895 г. С 1897 г. сотрудничал в журналах «Сын отечества», «Вестник Европы», «Театр и искусство», «Образование», «Новое слово», газетах «Русское слово», «Руль» и пр. В 1898-1916 гг. постоянный критик «Биржевых ведомостей», с 1916 г. редактировал газету «Петербургский листок». Вел переписку со многими литераторами символистского круга, однако как критик выступал против радикального модернизма и авангарда.

После революции читал лекции о литературе, сотрудничал в журнале «Вестник литературы».

Обширное литературное наследие Измайлова включает ряд повестей, романов и сборников рассказов, сборники критических статей, книги о Чехове и Гамсуне и т. д. Наиболее известны сборники пародий «Кривое зеркало» (первое изд. 1908) и «Осиновый кол: (2-й томик “Кривого зеркала”» (1915). Беллетристические произведения редко привлекали внимание критики.

БИБЛИОГРАФИЯ

Тексты публикуются по указанным первоизданиям с исправлением очевидных опечаток. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

На фронтисписе шарж работы В. Дени.

Призрачный час

Рассказы. СПб.: Шиповник, 1912. Также в специальном номере журн. «Огонек», посвященном теме петербургских белых ночей (1912. № 21).

Феникс

Феникс, Хиромант, Призор очес (обл.: Мистические рассказы). СПб.: Изд. М. Г. Корнфельда, 1912.

Хиромантик

В бурсе (Бытовая хроника в двух частях): Третья кн. рассказов. СПб.: Изд. книгопродавца И. Л. Тузова, 1903.

Букинист

Осени мертвой цветы запоздалые: Рассказы. СПб.: Типолит. «Энергия», 1906.

Odor mortis

В бурсе (Бытовая хроника в двух частях): Третья кн. рассказов. СПб.: Изд. книгопродавца И. Л. Тузова, 1903.

«Призор очес»

Феникс, Хиромант, Призор очес (обл.: Мистические рассказы). СПб.: Изд. М. Г. Корнфельда, 1912. В сб. «Рассказы» (1912) под загл. «За чудом».

Под звездами

Избранные рассказы. СПб.: Изд. ред. журн. «Пробуждение», 1913.

Черный ворон

Черный ворон. Второе изд. СПб.: Изд. книгопродавца И. Л. Тузова, 1903.

Пьяный яд

Огонек. 1913. № 51. Илл. С. Животовского.

Книга семи печатей

Огонек. 1912. № 52. Илл. С. Животовского.

Кто он?

Избранные рассказы. СПб.: Изд. ред. журн. «Пробуждение», 1913.

Гомункул

Кривое зеркало: Пародии и шаржи. Изд. 4-е. СПб.: Шиповник, 1914.

Досуги сатаны

Огонек. 1910. № 52. с подзау. «Рождественский рассказ». Илл. Н. Герардова. Также в сб. «Осиновый кол» (1915) под загл. «Как я играл в бирюльки с дьяволом: (Очень страшный рассказ)».

Последний графоман

Кривое зеркало: Пародии и шаржи. Изд. 4-е. СПб.: Шиповник, 1914.

Сон в Иванову ночь

Рыбье слово: Повести и рассказы. СПб.: Изд. П. П. Сойкина, [1903].

Наваждение

Рыбье слово: Повести и рассказы. СПб.: Изд. П. П. Сойкина, [1903].

Оглавление

Призрачный час	7
Феникс	19
Хиromантик	36
Букинист	51
<i>Odor mortis</i>	72
«Призор очес»	85
Под звездами	98
Черный ворон	106
Пьяный яд	118
Книга семи печатей	131
Кто он?	141
Гомункул	151
Досуги Сатаны	159
Последний графоман	177
<i>Приложения</i>	
Сон в Иванову ночь	187
Наваждение	192
Об авторе	195
Библиография	196

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.